



ЖИЗНЬ ГОГЕНА



АНРИ ПЕРРЮШО



Жизнь в искусстве (АСТ)

Анри Перрюшо

Жизнь Гогена

«ФТМ»

«АСТ»

1955

УДК 75(44)(092)
ББК 85.143(3)

Перрюшо А.

Жизнь Гогена / А. Перрюшо — «ФТМ», «АСТ»,
1955 — (Жизнь в искусстве (АСТ))

ISBN 978-5-17-078680-0

Писатель Анри Перрюшо, известный своими монографиями о жизни и творчестве французских художников-импрессионистов, удачно сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с достоверностью фактов, пытаясь понять особенности творчества живописцев и эпохи. В своей монографии о знаменитом художнике Поля Гогена автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования. В книге использованы уникальные документы, воспоминания современников, письма.

УДК 75(44)(092)
ББК 85.143(3)

ISBN 978-5-17-078680-0

© Перрюшо А., 1955
© ФТМ, 1955
© АСТ, 1955

Содержание

Пролог. Дочь лучей и теней	6
Часть первая. Дух умерших бодрствует (1848–1885)	17
I. Эльдorado	17
II. Человек с печатью на устах	37
III. Датское Королевство	73
IV. Mette	86
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Анри Перрюшо Жизнь Гогена

**Henry Perruchot
La vie de gauguin**

© Librairie Hachette, 1955

© ООО «Издательство АСТ»

Пролог. Дочь лучей и теней

Стоило увидеть ее сверкающие глаза и то, как она сворачивалась клубком в своем кресле, точно змейка на солнцепоке, чтобы сразу почувствовать: предки ее пришли издалека, она – дочь лучей и теней, дитя жарких стран, дитя, заблудившееся в северных краях...

Жюль Жанен. Мадам Флора Тристан

В бурные июньские недели 1848 года у редактора газеты «Насьональ» Кловиса Гогена было так много хлопот, что он даже не мог побыть со своей молодой женой в их квартире на улице Нотр Дам де Лоретт, 52¹.

Но если Арман Марра и его друзья были вполне удовлетворены результатами февральской революции, других французов они устраивали гораздо меньше. Между либералами и социалистами, буржуазией и рабочими, на какое-то мгновение объединившимися, очень скоро возникли противоречия. 15 мая в Национальное собрание ворвались «красные», «раскольники». Их демонстрация окончилась неудачей, и это подстрекнуло правительство к решительным действиям. Сразу после провозглашения Республики оно под давлением социалистов обещало всем гражданам работу. С этой целью были созданы национальные мастерские. 21 июня их закрыли. И тотчас в ответ 50 тыс. рабочих воздвигли в Париже четыре сотни баррикад.



Начало революции 1848 года во Франции.

Облеченный диктаторскими полномочиями, генерал Кавеньяк дал бой восставшим. Бои происходили в районе Пантеона, возле Городской ратуши, на бульварах, бои шли в предместьях. Они шли повсюду. На протяжении четырех дней – с 23 по 26 июня – Париж содрогался от грохота братоубийственной стрельбы.

¹ Сейчас это дом № 56. В 1930 году на доме, где родился Поль Гоген, была установлена мемориальная доска.



Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ.

Что думал обо всех этих событиях Кловис Гоген? Быть может, они внушали ему такой же ужас, как его соседу по улице Нотр-Дам де Лоретт Эжену Делакруа, чья мастерская находилась как раз в соседнем доме № 54².

Журналист, не отличавшийся особым дарованием, Кловис Гоген, как и все его близкие, был пылким республиканцем. Ему исполнилось 34 года, семья его была родом из Гатине³, с XVIII века она обосновалась в Орлеане, где расселилась в районе Сен-Марсо, за Луарой. Тут-то и родился Кловис.

Люди скромного достатка, Гогены почти все были садоводами; некоторые – таких было меньше – занялись коммерцией, как, например, отец Кловиса, Гийом, который держал бакалейную лавочку в Круа-Сен-Марсо, или как младший брат Кловиса, Изидор (Зизи), который стал ювелиром. Родня Кловиса, как дальняя, так и близкая, жила скромно и, что называется, «без всяких историй». Этого нельзя было сказать о родне его жены Алины, урожденной Шазаль.

Умершая за четыре года до рождения внука, мать Алины была не кто иная, как знаменитая Флора Тристан – та самая пропагандистка-революционерка, чья память свято чтит рабочие в 1848 году и чье испанское происхождение в какой-то мере несомненно объясняет пылкость ее натуры.

Отец Алины был все еще жив: он содержался в Главной тюрьме в Гайоне (департамент Эр), отбывая там двадцатилетний срок каторжных работ за покушение на убийство.

...1789 год. Аристократы бегут за границу. К эмигрантам примешивается разношерстная публика – тут и люди, сохранившие верность монархическим идеям, но также и готовые

² Сейчас № 58.

³ По-видимому, из деревни Ле Гоген, расположенной в 15 километрах от Куртене.

пожиться за счет простофиль авантюристы, которых всегда выносят на поверхность водовороты великих исторических потрясений.

Среди эмигрантов, избравших местом своего изгнания Испанию, оказалась молоденькая девушка по имени Тереза Лене⁴. Кто были ее родные? Где она родилась? Об этом ничего не известно⁵. О ней вообще неизвестно ничего, до того самого момента, когда она достигла, быть может, именно того, к чему стремилась, и, осев в Бильбао, вступила в связь с испанским драгунским полковником, племянником архиепископа Гренадского, кавалером ордена святого Иакова, доном Мариано де Тристан Москосо.

Потомок старинного арагонского рода, очень богатого и давно перебравшегося в испанскую колонию – Перу, полковник был по-своему поэтом. Он умел ценить простые радости, «мог без усталости любоваться облаками, парившими над его головой, трепетавшими на ветру листьями, стремительным течением ручейка и зарослями на его берегах»⁶. Быть может, он презирал условности. Но то ли по беспечности, то ли из опасения навлечь на себя гнев родных, а может быть, и короля, своего господина, он не оформил своей связи с молодой француженкой.

Между тем союз этот, хотя и незаконный, оказался прочным. Тереза Лене родила Мариано дочь Флору в 1803 году. Еще до ее рождения молодая чета переехала во Францию и с 1802 года обосновалась в Париже. Четыре года спустя дон Мариано купил на улице Вожирар роскошный особняк, прозванный Маленьким замком. Дом был окружен множеством подсобных строений и тенистым парком, где белели статуи. Весьма вероятно, что Тереза Лене пыталась привести к венцу отца своих детей. Однако непредвиденные события помешали ее намерениям, и после безбедного, беззаботного существования она была ввергнута в нищету.

В июне 1807 года дон Мариано скоропостижно скончался от апоплексического удара. Тереза Лене потребовала, чтобы ее признали «фактической женой покойного дона Мариано». Ей оставили во временное пользование Маленький замок, который, чтобы иметь средства к существованию, она сдала торговцу пенькой. В это время в Мадриде произошло восстание 2 Мая, Испания поднялась против Наполеона. В сентябре 1808 года был издан указ о конфискации имущества, принадлежавшего испанцам во Франции.

Не избежал этой участи и Маленький замок. Тереза Лене начала трудную и долгую тяжбу, чтобы удержать за собой парижскую собственность дона Мариано. Усилия оказались тщетными. В 1817 году Терезе окончательно отказали в ее иске.

В течение этих десяти лет Терезе жилось все труднее. Нужда вынудила ее перебраться в деревню – там умер ее второй ребенок, брат Флоры. Тереза решила обратиться к родственникам дона Мариано. Она написала несколько писем в Перу, выдвигая различные доводы в защиту своих прав; то уверяла, будто ее союз с доном Мариано тайно благословил священник-эмигрант, то однажды предъявила заверенный нотариусом документ, где свидетели подтверждали, что она жила «как законная жена» с покойным дворянином. Все эти попытки оказались столь же бесплодными, как и судебные хлопоты. Тереза так и не получила из Перу никакого ответа.

⁴ Возможно, ее звали Мари-Пьер Лене. Как пишется точно ее фамилия – неизвестно.

⁵ Все мои попытки установить происхождение этой прабабки Гогена оказались тщетными.

⁶ Симон Боливар. «Письма Боливара» в «Волер» от 13 июля 1838 года.



Флора Тристан, бабушка Гогена.

Тереза Лене была из тех натур, которые с трудом освобождаются от власти грез – разбитые надежды сохраняют для них все обаяние миража. Чем глубже она погрязала в нищете, тем больше приукрашивала свое прошлое, вознаграждая себя химерами и тешась тщеславной и наивной иллюзией будто она знатная дама, на которую обрушилось несчастье. Войдя в эту роль, она непрерывно ее совершенствовала. Она ни разу не заикнулась дочери о ее незаконном происхождении, зато подробно и охотно рассказывала ей о знатном роде отца, который был якобы потомком короля ацтеков Монтесумы. Тереза Лене не отличала перуанских инков от мексиканских ацтеков, для нее эти страны составляли одно волшебное Эльдorado.

В 1818 году, бедствуя более чем когда бы то ни было, она вернулась с Флорой в Париж. Быть может, она надеялась, что здесь ей легче, чем в деревне, удастся пристроить дочь. Поселилась она неподалеку от площади Мобер, в одном из самых бедных и пользовавшихся дурной славой районов столицы.

В ту пору грязные, запутанные улочки этого квартала кишели всевозможными подонками, проститутками и нищими. Между жалкими лавчонками помещались кабачки, которые, по сути дела, были гнусными притонами, вроде знаменитого кабаре папаши Люнетта на улице Дез Англе, или еще более подозрительного «Шато-Руж» на улице Галанд. Но блеск перуан-

ского золота затмевал неприглядную мерзость окружения. Трущоба на улице Фуар, куда судьба забросила Терезу, была освещена величием семьи де Тристан Москосо.

В этой страшной обстановке и росла Флора. Росла, слушая сказки, которые ей рассказывала мать, и сама говорила теперь о семье Тристан Москосо, о Перу и Монтесуме с гордостью, тем более самонадеянной, что считала ее совершенно обоснованной. Флоре и ее матери нечем было топить, у них не было масла, чтобы зажечь лампу, они терпели всевозможные лишения, но Флора страдала не столько от самой нищеты, сколько от связанного с ней унижения. В какую ярость она впала, как топала ногами в тот день, когда мать вынуждена была открыть ей тайну ее рождения! Флора была необычайно пылкой натурой, лишения только подстегивали ее фантазию. Кровь, которая текла в ее жилах – а эта кровь и в самом деле была наполовину кровью Тристан Москосо, – возбуждала в ней мечты о безоглядной любви. У нее завязались отношения с каким-то молодым человеком, но она с такой страстью проявляла свои чувства, что, напуганный ее неистовством, он поспешил ретироваться.

Обыденное – то, из чего, как правило, складывается жизнь, – внушало Флоре отвращение. Ее влекло все необычное – она считала, что оно уготовано ей по праву рождения. «Ненавижу бездарность, половинчатость. Мне подавай все. Я не могу, но хочу им завладеть. Мне бы только передохнуть, оправиться, и тогда я снова воскликну: «Еще, еще!!» – и побегу дальше, задыхаясь, пока не выбьюсь из сил и не умру в своем безумстве. Но ты, благоразумие, ты нагоняешь на меня тоску своей зевотой!» Эти слова были сказаны не Флорой. Они были сказаны позже ее внуком, Полем Гогеном, молчаливым художником с профилем инки. Но Флора охотно подписалась бы под этими словами. Семнадцатилетняя девушка, властная, высокомерная, вспыльчивая, она жаждала исключительной судьбы. Одета в лохмотья, она чувствовала себя королевой.

Ради заработка она поступила работать в мастерскую, которую основал талантливый двадцатитрехлетний гравер-литограф Андре-Франсуа Шазаль. Ее обязанностью было подкрашивать эстампы. Тоненькая, хрупкая, сплошной комок нервов, она была на редкость хороша и притягательна. Она быстро догадалась, какие чувства питает к ней Шазаль. Флора лишь отчасти их разделяла, но ее мать всячески побуждала дочь извлечь из них выгоду.

Семья Шазалей была почтенная, уважаемая семья. Ремесло, связанное с искусством, было в ней почти традиционным. Мать Андре в эпоху Империи печатала и продавала эстампы. Старший брат Антуан тоже был гравером, и к тому же живописцем. Он собирался выставить свои полотна в очередном Салоне, иллюстрировал книги, издал «Уроки вышивания для дам, желающих посвятить себя этому занятию». Впоследствии он стал художником-анималистом. Флора в ее положении не могла и мечтать о лучшей партии – это, должно быть, и втолковывала ей мать. То ли девушка приняла корыстный расчет за порыв сердца, то ли ее увлек собственный темперамент, так или иначе, она вскоре влюбила себе, что влюблена.

Семья Шазалей была против этого брака. Родственники пытались отговорить литографа от женитьбы не столько из-за того, что девушка была бедна, сколько из-за ее неровного характера и склонности к безудержным фантазиям. «Никогда не выйдет из нее хорошей жены и матери», – твердили Шазалю. Но ослепленный страстью Шазаль не слушал предостережений. «Она вспыльчива только потому, что несчастлива, – отвечал он. – Когда она выйдет замуж и будет пользоваться скромным достатком, она станет ровнее».

У Шазалья были причины верить, что он сделал правильный выбор. Флора писала ему письма, в которых, обманываясь сама, уверяла его в своих благих намерениях.

«Увидишь, я буду примерной женой, – заверяла она его. – Я буду добра ко всем, я останусь философом, но при этом буду такой ласковой и приветливой, что все мужчины захотят жениться на женщинах-философках».

Но после свадьбы, которую отпраздновали в начале 1821 года, добрых намерений Флоры хватило ненадолго. Медовый месяц быстро приобрел привкус дегтя. Шазаль спас Флору от

нищеты. На ее месте многие женщины испытывали бы благодарность к мужу, тем более что ей должна была льстить чисто женская власть над ним – муж был влюблен в нее, как в первые дни. Но Флора вздыхала и втайне раздражалась.

Шазаль был человеком заурядным, не очень умным, не слишком честолюбивым, его вполне устраивали тесные рамки его незаметного существования, да он и не способен был стремиться к более широким перспективам. Он всячески старался угодить жене, но что значили в глазах Флоры жалкие знаки его внимания, когда всем своим существом она рвалась к жизни иного размаха, когда она видела в любви «дыхание бога, его животворящую мысль, созидующую великое и прекрасное»? Покорный муж очень скоро стал ненавистен ей своей заурядностью.

Родился ребенок, за ним второй. Флора мало интересовалась детьми, предоставив их попечению своей матери. Она чувствовала, что ее засасывает трясина брака, которого она сама когда-то желала. С каждым днем она все больше презирала своего мужа. Она накапливала против него обиды, стала укорять его, что он игрок и транжирит деньги, принадлежащие семье. Обвиняла его во вспыльчивости, будто не она сама – воплощенная несдержанность – была во многом виновата в том, что между ними стали разыгрываться скандалы, становившиеся с каждым месяцем все более бурными. Флора с такой оскорбительной откровенностью выказывала мужу свое презрение, что он уже не мог его не замечать и жестоко страдал.

Оскорбленный муж забросил свою мастерскую – Флора под предлогом нездоровья отказалась помогать ему в работе. Дела пошатнулись, стали идти все хуже и хуже, Шазаль перестал зарабатывать деньги, оттягивал платежи, влезал в долги. Для Флоры это был новый повод обвинять мужа и тяготиться браком, на который – как она теперь уверяла – ее толкнула мать. Но какой другой брачный союз мог бы удовлетворить Флору? Ее стремление к независимости было так велико, что при малейшем покушении на ее свободу она становилась на дыбы. Вновь и вновь повторяя свои жалобы, она бунтовала против подчиненного положения, на которое нравы и законы эпохи обрекают женщин. Она провозглашала право женщины на эмансипацию. Вскоре она дала себе слово подать пример другим, «стать свободной» – и вести себя как «женщина, свободная в полном смысле этого слова». Это не были пустые слова.

В 1825 году Флора снова забеременела. Но ожидание ребенка не заставило ее отложить свой план. Ей представилась возможность совершить небольшое путешествие – она воспользовалась предложением и исчезла из дома. Шазаль лишь много позже увидел свою дочь Алину, которую Флора родила в октябре.

После этого следы Флоры почти совсем теряются на несколько лет. Детей взяла к себе ее мать. Флора, по-видимому, бралась за различную работу. Недолгое время работала, как прежде, колористкой, служила кассиршей у кондитера, потом устроилась горничной в семейство англичан. Она изъездила Европу, побывала в Великобритании, Швейцарии, Испании и Италии. Кажется, жила даже в Индии, в Калькутте.

Во время своих скитаний, в 1829 году, остановившись ненадолго в Париже, в меблированных комнатах, она свела знакомство с капитаном корабля Шабрие. Этот моряк вернулся из Перу. Его рассказы о семье Тристан Москосо, о том, какое видное положение она занимает – младший брат дона Мариане, дон Пио, принимал участие в войне за независимость Перу и некоторое время был перуанским вице-королем, – оживили мечту Флоры об утраченных богатствах. Она тут же написала дону Пио, рассказала ему о своих «несчастьях» и просила у него «справедливости» и «покровительства». Письмо пришло в Перу как раз в тот момент, когда мать дона Пио приступила к дележу своего состояния между наследниками. Может быть, боясь вторжения незваной чужеземки, дон Пио взял на себя труд ответить «многоуважаемой племяннице». Его ловко составленное письмо пронизано лукавой иронией. Тем не менее, признавая за Флорой «спорное право» на имущество своего покойного брата дона Мариано, он

заверял молодую женщину, что готов оказать ей покровительство, предлагая ей три миллиона пиастров наличными и ежегодную ренту примерно на такую же сумму.

Но если дон Пио рассчитывал таким образом избавиться от Флоры, он заблуждался. Наоборот, он дал ей возможность явиться в Перу, чтобы потребовать наследство своего отца. Разве, по словам Терезы Лене, дон Мариано не говорил: «В один прекрасный день у моей дочери будет сорок тысяч ливров ренты»? В 1833 году после различных приключений, помешавших ей раньше осуществить свой план, Флора отправилась в Бордо и там села на корабль «Мексиканец», который направлялся в Америку и которым командовал капитан Шабрие.

Путешествие принесло Флоре двойное разочарование. Во время плавания Шабрие, влюбившийся в Флору, просил ее выйти за него замуж. Флора, также почувствовавшая сердечную склонность к моряку, но скрывшая от него правду о своем семейном положении, вынуждена была придумывать всевозможные басни и отговорки, чтобы уклониться от брака, на который не имела права. Эта история надолго оставила в ее сердце болезненное сожаление. Не больше повезло Флоре и в том, ради чего она предприняла свое путешествие. В Перу дон Пио оказал ей пышный прием, расточал любезности, но, несмотря на то, что она много месяцев подряд вела с ним борьбу, в главном не уступил: он по-прежнему соглашался только выплачивать ей небольшое содержание.

Плавание с капитаном Шабрие, жизнь в Перу и ссоры с доном Пио дали Флоре материал для ее колоритной, живописной и горькой книги с выразительным названием «Скитания парии», которую она опубликовала в 1838 году.

К тому времени прошло уже тринадцать лет с той поры, как она покинула семейный очаг. То, что жена бросила его, для Шазалья оказалось страшным ударом. Неустанно пережевывая свои обиды, он окончательно утратил интерес к работе и стал просто одержим мыслью о свалившихся на него бедах, которые в 1828 году были закреплены разделом имущества супругов, произведенным по требованию Флоры. Шазаль совершенно опустил. Он катился по наклонной плоскости. Спасаясь от кредиторов, ночевал где придется и влачил полуголодное существование. Вся сила его воли сосредоточилась на одном: вернуть себе детей, и для этой цели он всячески пытался увидеться с Флорой.

Под влиянием этой навязчивой идеи и нищеты у него, как видно, нарушилась психика. В 1835 году ему удалось похитить дочь Алину, которую, кстати сказать, он до этого ни разу не видел. Начались безобразные скандалы, в которых принимали участие и полиция, и национальные гвардейцы, и судебские, и случайные уличные зеваки. Наконец Алину поместили в пансионат. Но ненадолго. Шазаль силой забрал девочку оттуда и запер у себя в лачуге на Монмартре, где он скрывался. Девочке удалось убежать. Тогда он вернул ее снова, на этот раз законными средствами, с помощью комиссара полиции. Но тут произошел страшный случай: Шазаль пытался изнасиловать дочь (Алине было в ту пору 12 лет). Потрясенная девочка вернулась к матери.

По жалобе Флоры Шазалья арестовали и посадили в тюрьму Сент-Пелажи. В свою защиту он написал документ, направленный против жены, полный и справедливых укоров, и просто брани. Видно, что писал этот документ человек, обезумевший от ненависти.

Поскольку факт кровосмешения доказать не удалось, Шазалья выпустили на свободу. Но жена его потребовала решения суда о раздельном жительстве. Такое решение состоялось в марте 1838 года. Ярость Шазалья, которого отнюдь не смягчил опубликованный Флорой роман «Скитания парии», где она описывала их семейные неурядицы, теперь дошла до предела. Как-то в мае бывший литограф сделал рисунок. Он изобразил могилу, на ней написал «Пария», а внизу сделал подпись: «Есть правосудие, от которого ты пытаешься уйти, но которого не избежешь. Покойся в мире, чтобы послужить уроком тем, кто настолько безумен, что готов следовать твоим безнравственным наставлениям. Стоит ли бояться смерти, если хочешь наказать злодея? Разве не спасаешь ты тем самым его жертвы?»



Поль Гоген. Портрет матери.

Несколько недель спустя Шазаль приобрел пистолеты и пули. Он не скрывал, что намерен убить Флору, бродил вокруг дома на улице Бак, где она жила, подстерегая ее и при случайных встречах впиваясь в нее безумным взглядом. 10 сентября, когда Флора возвращалась домой, Шазаль подошел к ней и выстрелом в грудь тяжело ее ранил.

Вся столица была взбудоражена этим уголовным делом. Общественное мнение было на стороне Флоры, ее жалели, волновались за ее здоровье, которое в какой-то момент внушало опасения. Флора стала героиней дня – эта роль, несомненно, была ей по вкусу. Когда 31 января Шазаль предстал перед судом присяжных – заседания происходили 31 января и 1 февраля, – в зале собралась огромная толпа. Красота Флоры, ее изящество, длинные черные волосы, смуглая кожа испанки, весь ее хрупкий облик тронули присутствующих. Рядом с ней Шазаль, даже не пытавшийся скрыть свою ненависть, играл жалкую роль. Он хладнокровно заявил, что жалеет только об одном – что не застрелил Флору. Приговор был суровым: Шазаль был осужден на двадцать лет каторжных работ после стояния у позорного столба. Через три-четыре месяца наказание было смягчено: стояние у позорного столба отменили, а каторжные работы заменили тюрьмой.

О Шазале постарались забыть. Его гравировальные и литографские работы были приписаны его брату Антуану, благо совпадение инициалов облегчило этот подлог⁷. Флоре было разрешено «сменить фамилию Шазаль на фамилию Тристан»⁸.

За Шазалем захлопнулись двери тюрьмы, а Флора Тристан, которой исполнилось тридцать шесть лет, начала новую жизнь. Покушение, жертвой которого она стала, сделало ее знаменитой. «Скитания парии» были быстро распроданы. Флора стала писательницей. Она сотрудничала в газетах «Волер» и «Артист», опубликовала новую книгу – роман «Мефис». Круг ее знакомых составляли теперь писатели, философы, художники. Утверждая «право женщины на счастье», она еще с 1838 года стала требовать восстановления развода, который был отменен в 1816 году. Но это было только начало ее деятельности, которую она стремилась расширять и расширять. Считая себя жертвой общества, Пария, естественно, сблизилась с теми, кто хотел это общество изменить, – а именно с фурьеристами. Она заинтересовалась судьбой рабочих. Как и женщины, как и она сама, они были жертвами существующего социального строя...

В 1839 году, вскоре после процесса, Флора вновь отправилась в Англию, где изучала тяжелые условия существования английских рабочих. Она сочувствовала им, негодовала. И тут произошло событие, сыгравшее огромную роль в ее жизни.

Флора посетила дом для умалишенных в Бедламе, ей предложили повидать одного больного, по национальности француза. «У него редкая мания, – рассказали ей, – он воображает себя богом. Это бывший моряк, он много путешествовал, говорит чуть ли не на всех языках и, как видно, был достойный человек». «Как его фамилия?» – спросила Флора. – «Шабрие». «Шабрие!» – Флора вздрогнула. На самом деле этот Шабрие не имел ничего общего с бывшим капитаном «Мексиканца» (их фамилии даже писались по-разному). Но это совпадение потрясло Флору.

«О сестра моя! – воскликнул безумец. – Сам бог посылает мне вас в эту юдоль страданий, не для того, чтобы спасти меня, ибо мне суждено здесь погибнуть, но чтобы спасти идею, которую я принес миру. Внемлите мне! Вы знаете, что я посланец вашего Бога, мессия, возвещенный Иисусом Христом. Я явился довершить дело, им предначертанное. Упразднить все виды рабства, освободить женщину от кабалы мужчины, бедного от кабалы богатых, душу от служения греху!»

Этот взволнованный бред не слишком удивил Флору. «Так говорили: Иисус, Сен-Симон, Фурье», – писала она.

«Сестра моя, – сказал он мне, – я дам тебе символ искупления, ибо считаю тебя достойной его». Несчастный носил на груди дюжину маленьких соломенных крестиков, обрамленных черным крепом и красной ленточкой. На них были начертаны слова: «Траур и Кровь». Он снял один из них и вручил мне со словами: «Возьми этот крест, носи его на груди и ступай по свету, возвещая новую веру». Он преклонил колено, взял меня за руку и стиснул ее до боли, повторяя: «Сестра моя, осуши свои слезы, скоро царство Божье придет на смену царству диавола...» Я попросила его выпустить мою руку. Он повиновался без возражений, простерся у моих ног и поцеловал подол моего платья, повторяя голосом, прерывающимся от слез и рыданий: «Женщина земной образ Святой Девы! А мужчины не признают его! Унижают, втоптывают в грязь!» Я поспешила уйти. Я тоже была вся в слезах».

Флора вняла «безумцу пророку». Его призывы настолько были созвучны душевным устремлениям самой Флоры, ее представлению о самой себе, горделивой потребности в исклю-

⁷ Работы деда Гогена заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов. Г-жа Маркс-Ванденброук писала, что Андре Шазаль «подписывал своим именем не только портреты знаменитых людей и репродукции барельефов и скульптур, но и многочисленные рисунки для вышивания – из них два заслуживают интереса: весьма замечательная доска, на которой изображены два мифологических животных, отличается великолепным упрощенным рисунком, уравновешенной композицией и цветом, достойным Гогена, а «Мост Роше в Меревиле» – чудо упрощенного пространства».

⁸ «Друа», 1839, 2 марта.

чительности, что Флора услышала в них призыв свыше. Устами безумца с ней говорило само небо. Теперь она была уверена, что она избранница, отмеченная судьбой. Незаконнорожденная дочь испанского аристократа наконец-то постигла свое предназначение – она будет мессией пролетариата.

В 1840 году она опубликовала «Прогулки по Лондону», где описала нищету рабочих в столице Англии. Мания величия не мешала Флоре рассуждать логично. Размышляя о том, какими средствами рабочим легче всего добиться освобождения, она приходит к выводу, что они должны объединиться в единый «класс» посредством «тесного, крепкого, сплоченного союза»⁹. Она изложила эти положения в небольшой брошюрке «Рабочий класс», появившейся в 1843 году, а тем временем она активно боролась в рядах парижских рабочих. Но этого ей показалось мало. Она должна была повсюду нести слово истины. В апреле 1844 года она предприняла длительную пропагандистскую поездку по Франции.

Несмотря на хрупкое здоровье, она себя не щадила. Через Оксер, Дижон, Шалон, Сент-Этьен, Макон она добралась до Лиона, Авиньона, Марселя. Болезнь подтачивала ее слабеющие силы. Но она не отступала от взятой на себя миссии.

С глазами, «горящими пламенем Востока»¹⁰, «дочь лучей и теней», красоте которой неистовая убежденность придавала что-то вещее и необычное, появлялась среди рабочих. Она была небольшого роста, но казалась выше от мистического пламени, которое пожирало ее изнутри, и от своего пылкого красноречия. Возбуждая вражду и восхищение, лишая покоя полицию, которая следовала за ней по пятам из города в город, она по очереди обращалась с проповедями к рабочим Нимы, Монпелье, Безье и Каркасона.

Но она переоценила свои силы. Они таяли с каждым днем. Все равно! «Совершенно обессиленная физически, я чувствую себя счастливой», – писала она из Оксера. Она упивалась своей ролью и отдавалась ей до конца: ведь мученичество – это преображение. Из Тулузы она поехала в Монтобан, оттуда в Ажен – там полиция с помощью отряда солдат очистила от публики зал, где она выступала. Силы Флоры поддерживала всепожирающая страсть, но она же и убивала ее. В Бордо у Флоры произошло кровоизлияние в мозг.

Спасти ее не удалось. 14 ноября она умерла.

Когда Флора умерла, ее дочери Алине было девятнадцать лет. Беспокойные годы детства и юности могли пагубно сказаться на ней. Но судя по всему, этого не случилось.

«Она настолько же нежна и добра, насколько мать ее была властной и вспыльчивой», – писала Жорж Санд одному из друзей. – Эта девочка похожа на ангела – ее печальный облик, траурная одежда, прекрасные глаза и скромный ласковый вид внушили мне живейшее участие».

Алина выучилась ремеслу модистки, но добрые друзья и в первую очередь Жорж Санд больше всего хотели выдать ее замуж. И ей подыскивали мужа Кловиса Гогена, за которого она и вышла 15 июня 1846 года. По-видимому, именно о таком браке и мечтала эта скромная, робкая, немного даже запуганная девушка, которая после бурных лет детства и отрочества желала одного – тихой семейной пристани, спокойного, простого счастья.

От этого брака в 1847 году родилась дочь – Фернанда-Марселина-Мари, а год спустя сын Поль, появившийся на свет в Париже, ошестившемся баррикадами, над которыми витала тень его бабки Флоры Тристан.

Благодарные французские рабочие решили провести подписку и воздвигнуть памятник этой пламенной женщине. Он был поставлен на кладбище Бордо осенью того же 1848 года.

⁹ Четыре года спустя, в 1847 году, Маркс и Энгельс скажут: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Интересно также отметить, что именно английский пролетариат вдохновил одно из первых произведений Энгельса и что положение того же английского пролетариата произвело такое сильное впечатление на Ван Гога, что он, подобно Флоре, решил посвятить себя служению отверженным и стать проповедником.

¹⁰ Жюль Жанен.



Жорж Санд.

Часть первая. Дух умерших бодрствует (1848–1885)

І. Эльдorado

Всякий индивидуум – это история, – говорил Ле Дантек. – Неповторимая история, совершившаяся с единственным в своем роде яйцом. Мы являемся тем, что мы есть, во-первых, потому, что мы получили определенную зародышевую наследственность, во-вторых, потому, что пережили все обстоятельства нашей жизни.

Жан Ростан. Мысли биолога

С того времени, как 10 декабря принц Луи-Наполеон Бонапарт подавляющим большинством голосов был избран президентом Республики, Кловис Гоген потерял покой.

В Елисейском дворце балы сменялись празднествами. «Племянник кружит Республику в танце, ожидая минуты, чтобы она взлетела на воздух», – говорили враги Бонапарта. Президентские выборы принесли поражение сотрудникам «Насьональ», которые не жалели сил, ведя кампанию в поддержку кандидатуры генерала Кавеньяка. Кловис был уверен, что государственный переворот не замедлит положить конец Республике. Будущее рисовалось ему мрачным и грозным.

Ожидая худшего, он решился на добровольное изгнание.

Надо полагать, что решился он на это после долгих колебаний и советов с женой. Алину, как и ее мужа, не очень радовал план, осуществление которого должно было перевернуть все ее существование. Ей отнюдь не улыбалось пуститься в неизвестность с двумя маленькими детьми. Наконец-то в последние годы она вкусила прелесть покоя. Она была счастлива. Ее жизнь мирно текла в квартире на улице Нотр-Дам де Лорет возле мужа и детей, среди книг и картин, унаследованных ею от матери. А теперь ей предстояло устраиваться заново в незнакомых краях – кто знает, что ее там ждет.



Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III).



Церковь Девы Марии Лоретанской, Нотр-Дам-де-Лорет.

Вполне естественно, что в своих тревогах Алина вспомнила о перуанских «родных». Правда, Перу – далекая страна. Но мать так часто рассказывала о ней дочери, что она стала для нее почти знакомой. Хотя после выхода в свет «Скитаний парии» семья Тристан Москосо, возмущенная писаниями Флоры, порвала с ней всякие отношения и лишила ее ренты (дон Пио даже приказал публично сжечь ее книгу на площади в Арекипа), Алина все-таки надеялась, что родные посочувствуют ее невзгодам и протянут ей руку помощи. Кловис намеревался в изгнании основать газету – поддержка семьи Тристан Москосо избавила бы его от многих трудностей.

Месяцы шли, и опасения Кловиса подтверждались. В июне 1849 года в Париже снова произошли волнения. Возникли баррикады на улицах Сен-Мартен, Жан-Жак Руссо, Транснонен. Правительство стало преследовать некоторых политических деятелей. Кловис понял, что больше ждать нельзя, и решил тем же летом покинуть Францию с семьей.

Поль – малыш Поль, как его звали родители, – еще не был крещен. В предвидении длительного путешествия (до Перу надо было плыть три или четыре месяца, смотря по обстоятельствам) Алина решила не откладывать больше крещение сына. Церемония состоялась 19 июля в церкви Нотр-Дам де Лорет. Кловис на ней не присутствовал, очевидно, его республиканские взгляды сочетались с вольтерьянством. Крестным отцом мальчика был его дед Гийом из Орлеана.

В это же время чета Гогенов обратилась к близкому другу Флоры Тристан (он был свидетелем на свадьбе Алины), бывшему ученику Энгра, художнику Жюлю Лору, удостоенному медали Салона, с просьбой написать портрет малыша Поля. На портрете Жюль Лора годовалый Поль изображен голым до пояса – одну руку он прижимает к груди. У малыша круглое, живое лицо, светлые с рыжеватым отливом волосы, он смотрит на мир простодушными голубыми глазами.

Честолюбивые планы Луи-Наполеона, повлиявшие на жизнь семьи политического журналиста, толкнули невинного ребенка навстречу его судьбе.

* * *

В августе 1849 года малыша Поля внезапно вырвали из привычной обстановки. Семья Гогенов погрузилась в Гавре на бриг «Альбер» – судно, совершавшее рейсы в Южную Америку и лишенное элементарных удобств.

Плавание с первых же дней проходило в тяжелых условиях. Утлое суденышко швыряло из стороны в сторону. Как-то ночью малыш Поль проснулся от внезапного толчка. В тесной каюте все ходило ходуном, ночную тьму оглашали какие-то звуки – то глухие, то пронзительные, что-то трещало. Малыш Поль с расширенными от ужаса глазами поднял крик. Подбежавшая Алина склонилась над койкой, где метался ребенок. Она стала ласково успокаивать его. При виде знакомого лица, в котором он привык находить нежность и утешение, малыш понемногу оправился от страха и безмятежно заснул.

Вскоре материнское лицо станет для Поля единственным воплощением опоры и защиты в мире.

На борту «Альбера» Гогены страдали не только от неудобств. Им приходилось сносить грубость капитана, бесцеремонного наглеца, который обращался с ними самым оскорбительным образом. Кловис непрерывно ссорился с ним. Эти вечные стычки были совсем некстати – Кловис страдал болезнью сердца. Уж не волнения ли обострили его болезнь? Алина навсегда осталась в этой уверенности. Так или иначе, 30 октября, когда «Альбер», достигший окочности Патагонии, стоял на якоре в Порт-Фамин, Кловис упал замертво в шлюпке, которая должна была доставить его на берег. Смерть произошла от разрыва аневризмы.

* * *

Похоронив мужа в Порт-Фамин, Алина в полной растерянности продолжала свое путешествие. После смерти Кловиса у нее не осталось никакой надежды начать новую жизнь в Перу. Ее положение по отношению к семье Тристан Москосо в корне менялось. Она боялась, что встретят ее очень плохо. Пока «Альбер» шел на север, вдоль американского побережья Тихого океана, она с тревогой вспоминала, как ее мать обвиняла дон Пио в эгоизме, скупости и жестокости.

Но Алина терзалась понапрасну: дон Пио принял в Перу свою внучатую племянницу необычайно сердечно. Злосчастная судьба молодой женщины, потерявшей мужа по вине негодяя капитана, вызвала сочувствие всех домочадцев. Алину окружили всеобщим вниманием, детей баловали. Алина боялась, что в Лиме к ней будут относиться как к непрошеной самозванке, а вместо этого ей было суждено зажить в неге и холе, стать членом семьи, которая с той поры, как Флора за пятнадцать лет до этого побывала в Перу, процветала все больше и теперь сделалась одной из самых могущественных в стране и по богатству и по политическому влиянию. Алина считала, что она ввергнута в пучину бедствий, а ее ждала судьба героини волшебной сказки.

Подстегиваемый яростным честолюбием, дон Пио непрерывно приумножал свои богатства. Но его властолюбивой душе мало было одних сокровищ. Держа в своих руках нити многочисленных интриг, не останавливаясь ни перед чем, готовый обмануть, предать, нарушить клятву, пуская в ход все свои чары – а он несомненно обладал особым вкрадчивым обаянием («настоящая сирена», – говорила о нем Флора), – Дон Пио, которого противники называли «самым заклятым врагом народа», пытался стать президентом республики. Это ему не удалось. На его жизнь было совершено около десятка покушений. Но теперь он собирался отыграться.

В 1834 году он выдал старшую дочь за двадцатилетнего полковника дон Хосе Руфино Эченике, который при поддержке своего тестя в 1846 году стал военно-морским мини-

стром, а в 1849 году – вице-президентом республики. Пятнадцать месяцев спустя после приезда Алины, в марте 1851 года, Эченике достиг высшей власти – он сменил генерала Кастилья на посту президента республики.

Огромный роскошный дом, населенный множеством слуг, где давались великолепные приемы, и бывали самые знатные деятели перуанского государства, – такова обстановка, в которой малыш Поль прожил до шести с половиной лет. Не будь Луи-Наполеона Бонапарта, он, как всякий маленький француз скромного происхождения, вырос бы под небом сорок девятой параллели Северного полушария. А вырос он в совершенно иной обстановке – как маленький перуанец, окруженный царственной роскошью, в экзотическом, жарком, многокрасочном мире двенадцатой параллели Южного полушария. До шести с половиной лет говорил он не по-французски, а по-испански. И деревья, с которыми он познакомился впервые, были не дуб или тополь, а пальма, магнолия и палисандровое дерево. Животными, привлекавшими его младенческие взгляды, были ламы с длинными «лебедиными шеями», стада которых наводняли рынки Лимы, южноамериканские ястребы с красными лапами и голубоватой шеей, которые опускались на крыши, построенные в виде террас. Он не знал, что такое дождь, потому что в Лиме практически дождей не бывает, зато он привык к подземным толчкам, потому что в Перу почти каждый месяц случались землетрясения. И мужчины и женщины с цветной кожей были для него не диковинкой и редкостью, а тем, что повседневно его окружало.



Хосе Руфино Эченике – 14-й президент Перу.

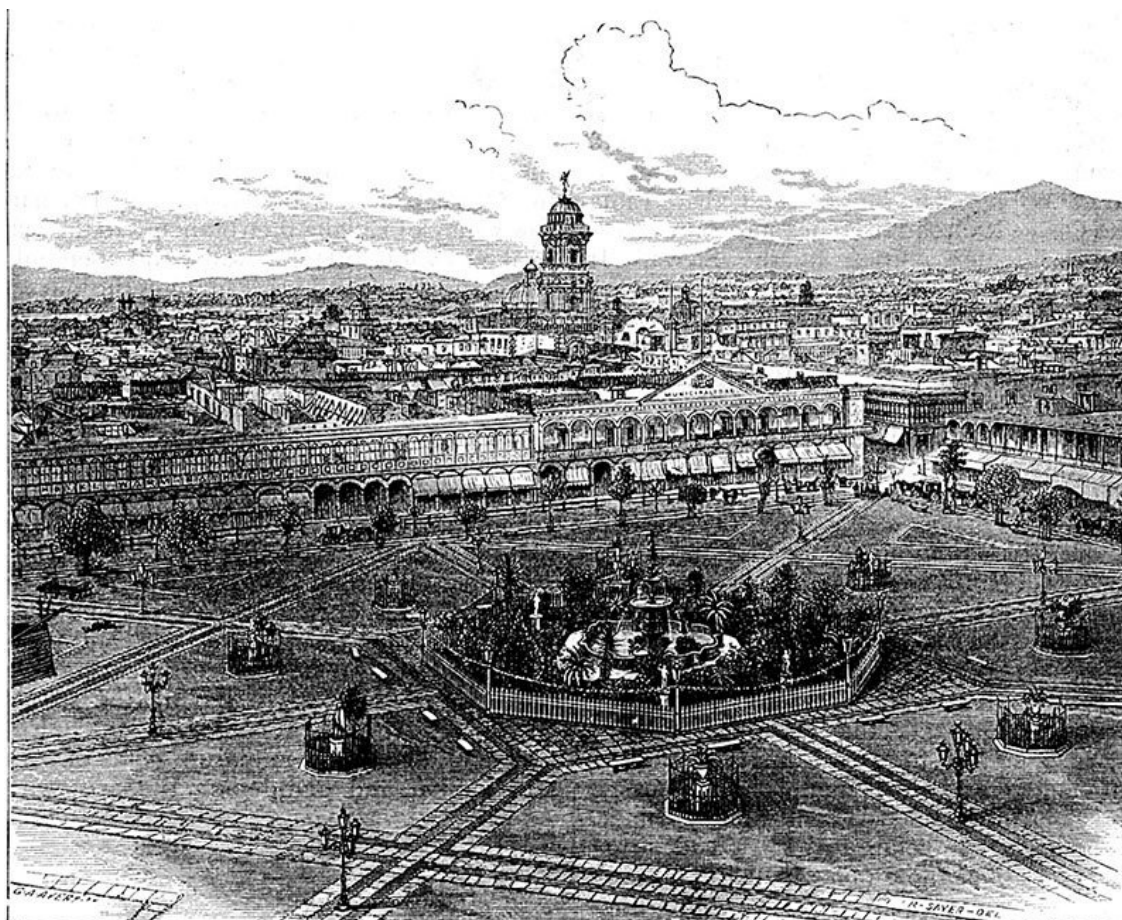
К Алине и ее детям были приставлены двое слуг – маленькая негритянка и китаец, это считалось делом обычным. По правде сказать, редкое место на земном шаре могло бы похвалиться таким этническим разнообразием, как перуанская столица Лима, насчитывавшая восемьдесят тысяч жителей. Люди, в жилах которых текла «голубая кровь», чистокровные африканцы и азиаты, индейцы, недавно спустившиеся с гор, жили здесь по соседству с мулатами, с *cholos* (потомки от смешанных браков индейцев и белых), *zambos* (потомки от смешанных браков индейцев и черных); словом, это было смешение всевозможных кровей. Цвет кожи местных жителей был всех мыслимых оттенков, и так же разнообразно было их телосложение и лепка лиц.

В этой шумной и пестрой среде малыш Поль впитывал первые жизненные впечатления. Жители Лимы любили посмеяться, пошуметь, они охотно предавались радостям и удовольствиям. Лима, «город королей», жила в довольстве и счастье. Ее разноцветные дома придавали ей праздничный вид. Президентский дворец на Пласа Майор (Пласа де Армас) был выкрашен охрой. Собор оранжево-розового цвета местами отливал зеленым, синим, желтым. Там и сям на коричневом и сиреневом фоне фасадов выделялись красные и зеленые балконы. Броская, кричащая пестрота, но она гармонировала с яркой переливчатостью лимской толпы. Местные женщины одевались только в шелка и атлас. Они шили из них юбки, *sayas*. Иногда эти юбки были настолько обтянутые, что бесстыдно подчеркивали их формы. На душу населения в Лиме на туалеты расходовалось больше денег, чем в Париже или в Лондоне. Женские туфельки шили из атласа. Даже мулатки низшего сословия носили шелка и увешивали себя драгоценностями. Роскошь была страстью всего города. Состоятельные семьи каждые четыре года меняли обстановку в доме. Устраивались торжественные приемы и балы. Стены гостиных, церквей и монастырей были сплошь увешаны произведениями искусства – картинами, вывезенными главным образом из Испании и Италии¹¹.

¹¹ «Число картин, вывозимых в Перу, просто невозможно вообразить» – писал в «Воспоминаниях об Испанской Америке» Макс Радиге, который жил в этой стране за несколько лет до приезда туда Алины Гоген. Среди художников, чьи произведения были представлены в Перу, он называет Сурбарана, Мурильо, Рибера, Бассано, Лукаса Джордано, Менгса.



Пласа Майор (Пласа де Армас), Лима, Перу. Современный вид



Пласа Майор (Пласа де Армас) в 1877 г. Лима, Перу

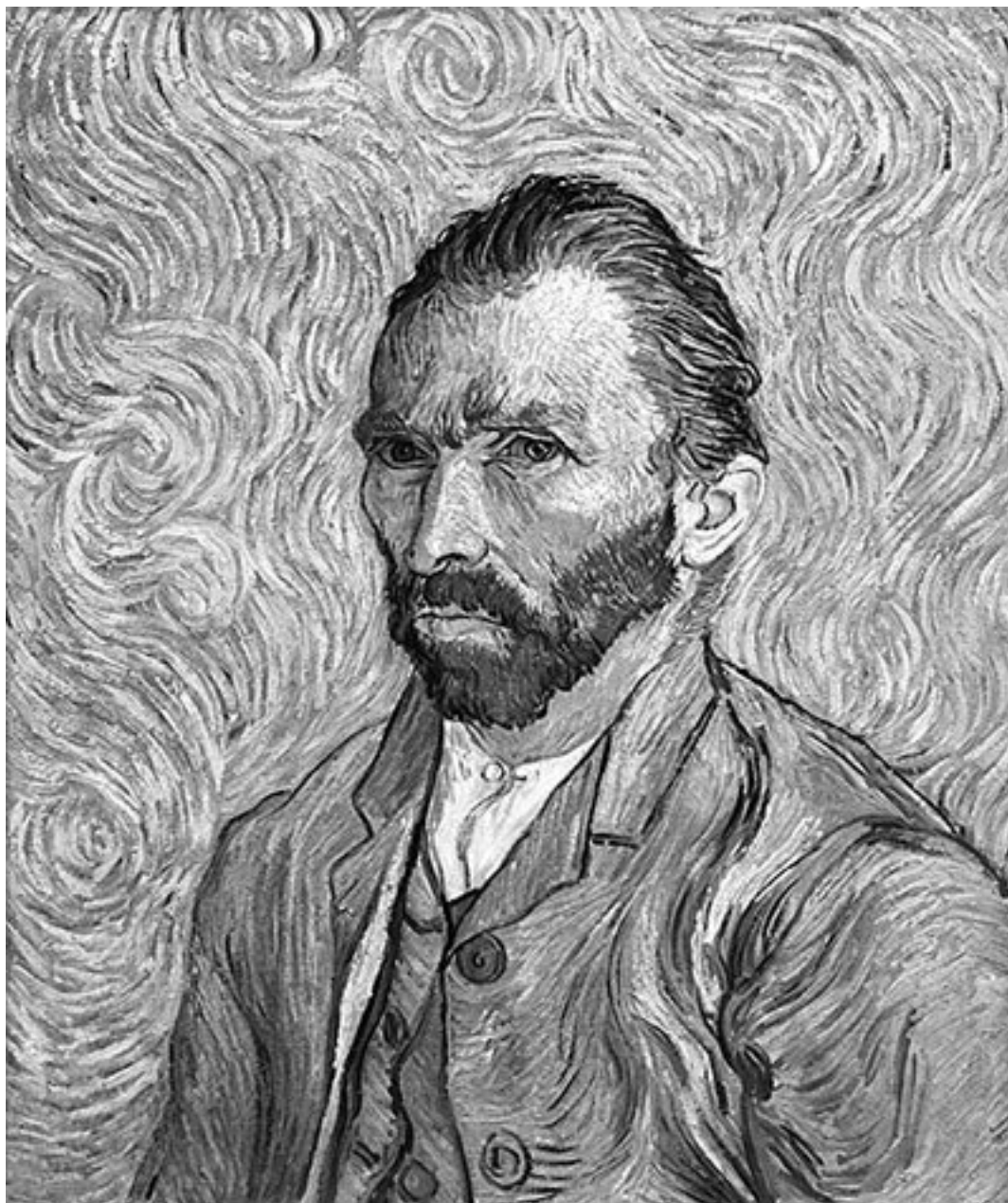
А какие теплые в Лиме ночи! Здесь почти не бывает ниже 12 градусов. Комната, где малыш Поль жил со своей сестренкой Мари и служанкой-негритянкой, выходила во внутренний двор. Каждый раз, когда часы били час, в ночи раздавались звуки флейты – это играли serenpos – дозорные, охранявшие город. Пропев «Ave Maria purissima», серенос объявляли, который час, потом восклицали: «Да здравствует Перу!» – и сообщали, какая погода: «серено» или «тремблор», то есть «ясно» или «землетрясение».

«Тремблор» – малыш Поль проснулся: перед ним на стене вздрагивал портрет дона Пио. Дон Пио покачивался, не сводя глаз с маленького Поля.

В другой раз ночью Поль заметил, как во дворе, освещенном бледным светом луны, какой-то человек спускается по лестнице с террасы на крыше. Человек медленно спустился вниз. Медленно приблизился к двери детской. Переступил порог. Подошел и остановился у детской кровати.

Это был сумасшедший, живший при доме. Домовладельцы в Лиме несли особую повинность, так называемый «налог на помешанных» – каждый из них обязан был содержать сумасшедшего. Этих несчастных сажали на цепь на террасах-крышах. Той ночью сумасшедший, живший у дона Пио, как видно, сумел освободиться. Неподвижный, безмолвный, он долго смотрел на Поля... Тридцать пять лет спустя в Арле декабрьскими ночами Поль Гоген тоже будет просыпаться от ощущения, что кто-то стоит рядом. Он увидит, как над ним склоняется человек с встревоженным лицом, внимательно вглядывающийся в него. «Что с вами, Винсент?» – спросит он. И Ван Гог, не ответив ни слова, отойдет... Сумасшедший дона Пио вышел из детской. Медленно подошел к лестнице и в бледном свете луны поднялся на свою террасу.

Незабываемые воспоминания раннего детства в Лиме! «У меня прекрасная память, и я помню этот период, наш дом и множество событий». Малыш Поль резвился в доме дона Пио, который, несмотря на свой преклонный возраст – в 1854 году ему должно было исполниться восемьдесят пять лет, – оставался все таким же неумным. Худенький, маленький, подвижной и выносливый, как все кордильерские горцы, он был полон жизни и задора. В домашнем обиходе, когда он не нуждался в уловках, на какие пускался в общественной жизни, когда он забывал о корыстных расчетах и честолюбивых планах, не было человека более обаятельного, более приятного в общении, чем этот знатный барин, человек выдающегося ума и утонченного воспитания. Его щедрость, роскошный образ жизни, который он вел, превращали его дом в подлинную обитель счастья для домочадцев, над которыми он властвовал.



Винсент Ван Гог. Автопортрет.

Малыш Поль в невинности душевной также вкушал это счастье под снисходительной опекой матери. Однажды Алина обнаружила, что сын исчез. Он убежал. Выскользнув на улицу, он добрался до расположенной рядом бакалейной лавки и там никем не замеченный уселся между двумя бочонками мелиссы. Слуга китаец нашел его там – мальчик сосал сахарный тростник. В другой раз шестилетнего Поля и его ровесницу двоюродную сестру застигли за тем, что они пытались подражать любовным играм взрослых.

«Несколько оплеух, данных маленькой, упругой, как резина, ручкой» – вот наказание за эти проделки. Впрочем, оплеухи тотчас сменялись нежными укорами и поцелуями. «Как грациозна, изящна и хороша была моя мать в своем перуанском костюме!» Алина очень быстро переняла перуанские моды. Как и все местные женщины, она носила особую одежду, которая вместе с сауа образовывала нечто вроде манто-сака – капюшон, закрывая голову и лицо, оставлял открытым лишь один глаз. Этот материнский глаз смотрел на малыша Поля – «такой нежный и повелительный, чистый и ласковый!» Полю казалось, что его мать все знает, все может,

что она наделена сверхъестественной силой. В Лиме переделали купол церкви – вернее, церковь увенчали новым куполом с деревянной резьбой, собранным из готовых частей. Алина пером нарисовала этот омоложенный купол. «Прелестный рисунок. Рисунок моей матери. Я думаю, вы меня поймете...»

В августе 1853 года президент Эченике получил от конгресса звание дивизионного генерала. Никогда Республика Перу не процветала так, как во времена его правления. Несмотря на это, в стране зрела мощная оппозиция. Ее главным вдохновителем был предшественник Эченике – генерал Дон-Рамон Кастилья. В начале 1854 года разразилась гражданская война. Кастилья с оружием в руках выступил против Эченике и готовился в поход на Лиму. Счастливым дням пришел конец.

А тем временем, пока в стране готовилась революция, Алина получала настойчивые письма из Орлеана: дедушка Гийом, чувствуя приближение конца, убеждал ее вернуться. В 1853 году он разделил свое имущество между сыном Изидором и двумя детьми Кловиса. Но, очевидно, он хотел перед смертью попрощаться с внуками.

Алина колебалась – возвращаться ли ей в Европу. Правда, ход политических событий угрожал благополучию семейного клана Тристан Москосо. Но она привыкла к Лиме. Она понимала, что потеряет, покинув Перу. Знала она также, что дон Пио, полностью принявший ее в лоно семьи, собирается оставить ей большое наследство. Алина колебалась. В августе 1854 года она все же получила французский паспорт. Но не спешила с отъездом. Она все еще была в нерешительности. Однако события стремительно развивались. Верных Эченике войск становилось все меньше. В начале января 1855 года генерал Кастилья сломил последнее сопротивление своих врагов и 5 января победителем вошел в Лиму.



Генерал Дон-Рамон Кастилья.



Панорама Лимы, Перу. Современный вид

Алина села на корабль, плывший во Францию.

Возможно, что из Порто Каллао она показала малышу Полю Лиму, во всем своем величии вытянувшуюся в горах в двенадцати километрах от моря, «посреди гигантских Анд».

«Восхитительный край» Лиму, которую малыш Поль, Поль Гоген, не забудет никогда.

* * *

Лима – потерянный рай!

Дедушка Гийом скончался 9 апреля в своем доме в Орлеане, на набережной Тюдель, 25. Отныне здесь в одиночестве жил тридцатисемилетний холостяк дядя Зизи. Он приютил у себя невестку с детьми – Мари и малышом Полем.

Зачисленный экстерном в орлеанский пансион, малыш Поль посещал занятия, совершенно выбитый из привычной колеи. До сих пор он говорил почти только по-испански и теперь плохо понимал и учителей и товарищей, среди которых чувствовал себя чужестранцем.

Он чувствовал себя чужестранцем в этом французском городе, с его серыми стенами, под французским небом, с которого на землю лились потоки холодного дождя. Бледные лица, приглушенные краски. Даже мать Поля утратила свою жизнерадостность – она стала грустной, озабоченной.

В 1856 году, через год после приезда Алины в Орлеан, дон Пио испустил последний вздох. В своем завещании он не забыл дочери Флоры Тристан и назначил ей ренту размером около 25 тысяч франков. Но, пользуясь отсутствием Алины, клан Тристан Москосо в Лиме пустился на всевозможные ухищрения, чтобы не исполнить последней воли покойного. Алина требовала своих прав. Через некоторое время Эченике, которого после победы генерала Кастильи осудили на изгнание, приехал во Францию и предложил Алине договориться полюбовно. Но их встреча окончилась полным разрывом – Алина гордо ответила Эченике, что хочет получить «все или ничего».

Теперь Алине не на кого было рассчитывать, кроме как на самое себя. Правда, наследство дедушки Гийома было не таким уж маленьким. Его оценивали в добрых пятнадцать тысяч франков. Но половину его составляли земли, виноградники, дома, приносявшие незначительный доход. Так или иначе, оно не могло обеспечить существования Алины и ее детей. Алина решила переехать в Париж и открыть швейную мастерскую. Но для этой цели ей надо было продать часть недвижимости Гийома Гогена.

Тревоги Алины, ее долгие серьезные разговоры с дядей Зизи отзывались на малыше Поле. Кловис Гоген недаром эмигрировал в Перу. Дядя Зизи, который во время переворота Луи-Наполеона принял участие в демонстрации в защиту Республики, организованной перед ратушей несколькими сотнями орлеанских жителей, был арестован и приговорен к высылке в Африку. Приговор впоследствии был смягчен: отбыв наказание в тюрьме, дядя Зизи смог вернуться в Орлеан, где проживал «под надзором». Кстати, Андре Шазаль тоже был освобожден в марте 1856 года после семнадцатилетнего заключения – ему сократили срок наказания на три года. Местом жительства ему был назначен Эвре¹².

В саду дома на набережной Тюдель малыш Поль закатывал скандалы, яростно топал ногами. «Что с тобой, малыш?» – спрашивал дядя Зизи. Малыш Поль, продолжая топтать ногами, кричал: «Мальчик злой!» «Уже ребенком я судил себя и хотел, чтобы об этом знали другие», – писал позднее Гоген, не желавший, чтобы его считали мягкосердечным. А бывало, что мальчик молчаливо замыкался в себе и думал о чем-то своем.

В пансионе успехи его были невелики. Равнодушный к предметам, которым его обучали, он предавался мечтам. Он отнюдь не считался хорошим учеником. Правда, его нельзя было назвать и плохим. Он ставил в тупик своих преподавателей. Один из них так прямо и сказал: «Из этого ребенка выйдет либо кретин, либо гений». Занятное суждение – несомненно оно объясняется странной повадкой этого восьми-девятилетнего мальчика с серовато-зелеными мечтательными глазами.

На фоне серого уныния орлеанских дней, скудной жизни, нескончаемой тоскливой зимы, в золотистой жаркой дымке выступала Лима. Память вычленила образы прошлого. На улице, вдоль которой тянется сточный канал, краснолапые ястребы, спустившиеся с террасы на крыше, заглатывают отбросы. Маленькая черная служанка несет коврик для коленопреклонения в церкви. Рядом с молодой, хорошенькой Алиной старый-престарый дон Пио.

Воспоминания и мечты преображают, приукрашивают, поэтизируют утраченный мир, исчезнувшую Атлантиду. Дону Пио к моменту его смерти исполнилось будто бы сто тринадцать лет! Эченике был якобы его сыном, рожденным от второго брака, в который дон Пио вступил на восьмидесятом году! Сказочный мир. Алина привезла во Францию перуанские фигурки из местного серебра, примитивные керамические изделия – глиняную утварь, которую талант индейцев украсил антропоморфическим орнаментом. Одушевленные таинственной жизнью, варварские образы оживают в потемках – это магические заступники.

Поль вырезает ножом рукоятки кинжалов, украшая их резьбой, – «уйма детских мечтаний, непонятных для взрослых». «Согласно легенде Инка явился прямо с солнца – я туда и возвращусь». У дяди Зизи есть гравюра – на ней изображен путник, бредущий с посохом на плече, а на нем висит его скарб. Девятилетний Поль берет палку и, бросив несколько пригоршней песка в узелок из носового платка, пускается в путь. «У меня всегда была страсть к побегам».

Мясник, повстречавший мальчика, обругал его негодником и отвел домой, на набережную Тюдель. Приключение закончилось несколькими пощечинами... «Бойтесь воображения...»¹³

¹² Он умер в этом городе в 1860 году, тщетно пытаясь добиться от префектуры разрешения съездить в Париж, «чтобы собрать там остатки средств для поддержания моральных и физических сил».

¹³ «Дон Пио умер ста тринадцати (а не девяноста семи) лет», «он был отцом (а не тестем) Эченике» и т. д. Подобного рода «уточнения», внесенные Гогеном, часто повторяются исследователями его творчества. Но они принимают за историче-

В марте 1859 года, продав недвижимое имущество деда Гийома, Алина переехала в Париж и открыла здесь швейную мастерскую на улице Шоссе д'Антенн, 33.

Поля мать в Париж не взяла. Он продолжал учиться в Орлеанской семинарии, куда поступил пансионером. Сестра врача, Женни Менье, брала его на свое попечение в дни, когда пансионеров распускали по домам.

Начались суровые годы.

В замкнутом мирке интернатов легко возникают дружеские отношения, порой чересчур пылкие, – но такие отношения отнюдь не были в характере Поля Гогена. «Я привык уходить в самого себя, пристально наблюдая за игрой, какую вели мои преподаватели, сам себе творя игрушки, а также горести, со всеми карами, которые это за собой влекло». Поль сторонился людей и, остро ранимый, непокладистый, не переставал этих людей судить. «Думаю, что здесь-то я научился еще в детстве ненавидеть лицемерие, показные добродетели, доносительство (*semper tres*¹⁴), не доверять тому, что противоречило моим внутренним ощущениям, моему сердцу и разуму».

Нелюдим. Подросток, прислушивающийся только к голосам внутри себя; молчаливый, угрюмый, смеется редко, и отсутствующий взгляд его серовато-зеленых глаз выдает неудовлетворенность.

Не он ли попросил мать взять его к себе? В 1862 году Алина отдала сына в парижский пансион на улице д'Анфер. Должно быть, он учился там слишком плохо, потому что в 1864 году ему пришлось вернуться в Орлеан – на сей раз чтобы поступить в коллеж.

Это был последний год его учения в школе. Алина стала болеть – это сказывалось и на ее портняжной работе. Она хотела, чтобы Поль как можно скорее выбрал себе ремесло. Учение стоило дорого, она опасалась, что не сможет долго за него платить. А что, если она умрет? Алину тревожило будущее сына. И не только потому, что отметки Поля не давали повода для радужных надежд, но и из-за его характера и поведения. Щуплый, казавшийся года на два моложе своих лет и странно сочетавший в себе хрупкость с напором энергии, Поль замыкался в себе и ничем не проявлял своих чувств. Он не допускал излишней даже в отношениях с матерью, которая приходила в отчаяние из-за этой внешней бесчувственности. «Чтобы выговорить «я тебя люблю», мне надо было бы обломать себе все зубы». Мальчик был хмурый, обидчивый, рассеянный, часто о чем-то мечтал. Знакомые Алины его недолюбливали. Расположенных к нему людей было так мало, что останься он без матери, он оказался бы очень одиноким.

Когда Алина спросила сына, кем бы он хотел стать, с губ Поля внезапно сорвался ответ: «Моряком». Глядя на громадные синие пространства на географическом атласе, он видел струящийся над ними свет тропиков. Само собой, Поль ни минуты не помышлял о ремесле матроса. Для него стать моряком означало уехать, а уехать – это жить полной жизнью, отправиться за пределы времени и пространства, на поиски рая детских лет.

Алина с присущей матерям верой в лучшее тут же подумала о мореходном училище. Несмотря на плохие отметки сына, она уже воображала его в форме офицера военно-морского флота. Но Поль быстро разочаровал мать. Он так нерадиво готовился к трудному конкурсу в

скую правду то, что относилось к миру воображения Гогена, которое во многом повлияло на его судьбу и было одним из существенных элементов его духовной жизни. На предшествующих страницах я восстановил подлинные факты (с помощью, в частности, перуанских ежегодников той поры и многочисленных работ на испанском языке, таких, как «Galería de Retratos de los Gobernantes del Perú» Доминго де Бибера, опубликованная в Casa Editorial Maucci в Барселоне в 1909 году и содержащая дельную биографию Эчепикве. Опирался я также на «Скитания парии» Флоры Тристан, «Воспоминания» Макса Радиге и т. д.). Эти факты очень существенны для понимания психологии Гогена. Между прочим, интересно отметить, что перуанскому детству Гогена редко придают значение и, главное, никто не попытался изучить его глубже, хотя оно сыграло определяющую роль в его судьбе. Даже тексты произведений Гогена и Флоры Тристан, которая, кстати, указывает возраст донна Пио, не были внимательно прочитаны. Приведу лишь один пример: Гоген называет ястребов местным словом «gallinazos», а исследователи прочли его как «gallinaces», то есть «куриные».

¹⁴ Всегда втроем (латин.). – Примеч. пер.

училище, что его преподаватели отсоветовали ему даже пытаться участвовать в нем. На беду он достиг в 1865 году семнадцати лет – предельного возраста для поступающих. Учеба была закончена. Было решено, что он поступит на торговое судно учеником лоцмана, чтобы, по возможности, стать в дальнейшем офицером торгового флота.

Это решение, вероятно, не вполне удовлетворило мать Поля, но все-таки у нее одной заботой стало меньше. Алина воспользовалась этим обстоятельством, чтобы освободиться от мастерской, так как ее собственное здоровье внушало ей все большую тревогу. Она поселилась на Роменвильской дороге, в поселке Л'Авенир. Твердо уверенная, что не доживет до совершеннолетия своих детей, Алина составила завещание. Она не столько стремилась поделить между Полем и Мари то небольшое, чем она владела («Я оставляю Полю все мои портреты и картины, книги, цепочку с часами и брелоками, а также перстень с печаткой, принадлежавший моему деду»), сколько назначить им опекуна.

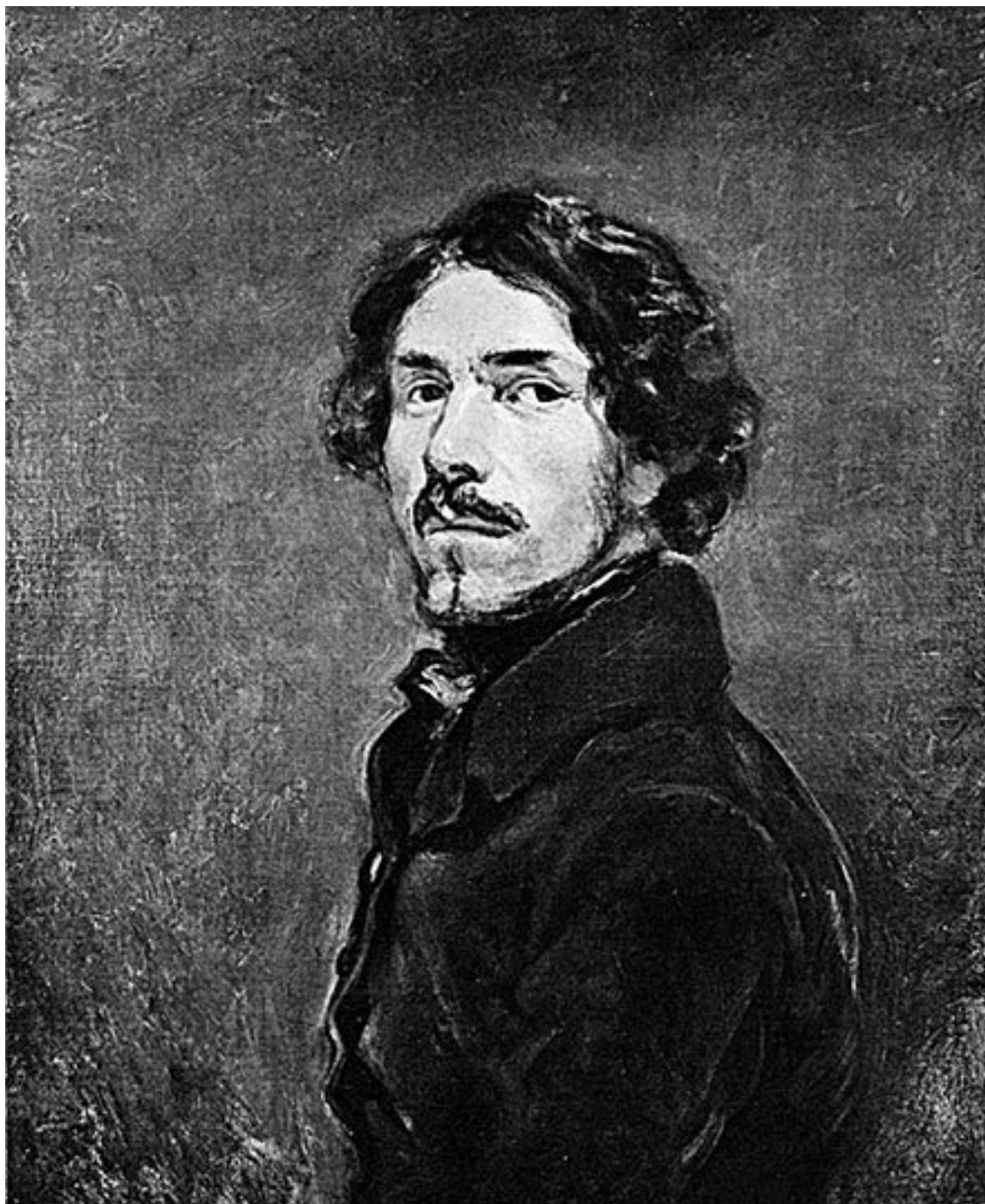
Этим опекуном стал старый друг семьи Гюстав Ароза, который, как и его жена, всегда проявлял большое участие к Полю и Мари. Семья Ароза была богата. Она принадлежала к парижским финансовым кругам – Гюстав был компаньоном биржевого маклера, его брат Ашиль – банкиром. Интеллигентные люди, наделенные тонким вкусом, братья не ограничивали свою деятельность деловой сферой. У них была общая страсть к собиранию произведений искусства. Оба составили прекрасные коллекции и неустанно их пополняли. Восторженный почитатель Делакруа, Гюстав в феврале 1864 года купил на посмертной распродаже его мастерской – она состоялась через два года после смерти художника – большое количество картин, этюдов, набросков великого мастера, с которым он, кстати, был знаком¹⁵. Эти произведения прибавились к работам Коро, Домье, Йонкинда и Курбе, которые украшали квартиру Гюстава на улице Бреда¹⁶ и которыми он так дорожил.

Дом – полная чаша, приветливая, изысканная обстановка (коллекция восточной керамики вносила в нее экзотическую нотку), атмосфера довольства и счастья – не напоминало ли все это Полю далекие годы, проведенные возле донна Пио? Было бы странно, если бы ему не нравилось бывать в доме Ароза. И наверное, это отчасти и определило выбор Алины, когда она назначила Гюстава опекуном своих детей.

Завещание Алины еще более укрепило ее связь с семьей Ароза. У этой семьи был в Сен-Клу, на улице Кальвер, дом, куда они часто наезжали. Алина поселилась в непосредственной близости от них, в доме номер два по улице Оспис. Там она и обосновалась вдвоем с дочерью, а Поль тем временем начал жизнь матроса.

¹⁵ Имя господина и госпожи Ароза дважды упоминается в Дневнике Делакруа (2 февраля и 26 марта 1856 года).

¹⁶ Ныне площадь Гюстава Тудуза.



Эжен Делакруа. Автопортрет.



Камиль Коро. Автопортрет.

Выполнив множество формальностей, как этого потребовали в Управлении по учету военнообязанных моряков, Поль вскоре узнал, что ему предстоит 7 декабря сесть в Гавре на корабль «Лузитано», принадлежащий Союзу грузчиков и совершающий рейсы в Южную Америку. На сей раз «Лузитано» направлялся в Рио-де-Жанейро.

Вдохнув соленый морской ветер гаврского порта, Поль почувствовал себя другим человеком¹⁷. В одно мгновение канули в прошлое унылые годы, проведенные в Париже и Орлеане. Уехать и вправду означало начать жить заново.

¹⁷ За семнадцать лет до этого, почти день в день, в начале декабря 1848 года, молодой человек, которому в ту пору было

С первых же его шагов в Гавре все благоприятствовало Полю. Капитаном «Лузитано» оказался капитан Фомбарель, квартирон, «добрейший папаша». Корабль, трехмачтовик, водоизмещением шестьсот пятьдесят четыре тонны¹⁸, был великолепно оснащен и имел отличный ход. Линия горизонта то поднималась, то опускалась между его снастями. В утренней прохладе плескались волны. Это было утро жизни. Чтобы отметить зарю нового, полного ярких впечатлений существования, которая занималась для него, Поль «в первый раз согрешил» в публичном доме для матросов. Наконец-то он стал мужчиной. Наконец-то он начал жить. Теперь он возьмет курс на Эльдorado.

Перед отплытием к Полю зашел ученик лощмана, на место которого он поступил. «Так это ты нанялся вместо меня? Послушай-ка, возьми эту коробочку и письмецо и не посчитай за труд отнести по этому адресу. – Поль бросил взгляд на конверт: «Мадам Эме, улица Оувидор». А бывший ученик лощмана продолжал: – Она славная женщина, а я особо рекомендовал тебя ей. Она моя землячка из Бордо». Это было еще одно доброе предзнаменование.

Плавание прошло великолепно. Попутные ветры сопровождали «Лузитано», который при сильном бризе делал до двенадцати узлов. Поль был очарован гаванью Рио. Как только его отпустили на берег, он помчался на улицу Оувидор. Улица Оувидор с ее роскошными магазинами, ателье и мастерскими искусственных цветов, которые делались из перьев, была одной из самых оживленных артерий города. Девушки, служившие в этих магазинах – многие из них были француженки, – славились своим легкомыслием. Мадам Эме из Бордо, тридцатилетняя певичка, исполнявшая первые партии в опереттах Оффенбаха, не опровергла галантной славы улицы Оувидор. «Ну-ка дай взглянуть на тебя, малыш! Да ты красавчик!» И она самым радужным образом приняла молодого матроса, который провел с ней «восхитительный» месяц.

«Я так и вижу, как она в богатом наряде выезжает в двухместной карете, запряженной норовистым мулом. Все наперебой за ней ухаживали, но официальным ее любовником в ту пору считался сын русского императора, который проходил службу на учебном корабле. Он тратил на Эме такие деньги, что капитан корабля обратился к французскому консулу, чтобы тот как-нибудь осторожно вмешался в дело.

Наш консул вызвал Эме к себе в кабинет и весьма неуклюже стал ей выговаривать. Эме не рассердилась, а рассмеялась и сказала ему: «Дорогой консул, я вас слушаю с превеликим восхищением и думаю, что дипломат вы, наверное, очень хороший, да только по бабьей части вы ни черта не смыслите». И ушла, напевая:

«Зачем, Венера, ты меня
Толкаешь на стезю греха?»

Меня Эме очень быстро толкнула на стезю греха. Как видно, почва была благоприятная, потому что я стал настоящим распутником.

На обратном пути мы взяли на борт много пассажиров, среди них толстушку-пруссачку. Тут настал черед капитана влюбиться, он всячески ее обхаживал, но без толку. Мы с пруссачкой нашли прелестное гнездышко в помещении, где были сложены паруса и которое выходило в каюту под лестницей. Безудержный враль, я наплел ей кучу небылиц, а она, по уши в меня влюбившись, во что бы то ни стало хотела увидаться со мной в Париже. Я дал ей адрес – улица Жубер, у Ла Фарси¹⁹.

почти столько же лет, сколько теперь Полю, тоже нанялся учеником на корабль в Гавре, который плыл тем же курсом, что и «Лузитано». Молодого человека звали Эдуард Мане. Мы ведем рассказ о 1865 годе – годе, когда разразился скандал с «Олимпией».

¹⁸ Не 1200 тонн, как писал Гоген.

¹⁹ Ла Фарси – знаменитая куртизанка того времени.

Гадко, конечно, меня некоторое время мучила совесть, но не мог же я пригласить ее к своей матери!»

Подобные любовные похождения могут дать пищу пикантным воспоминаниям, когда на склоне лет мужчина перебирает их со снисходительной усмешкой. Но что они дают уму и сердцу? Ничего. В лучшем случае минутный подъем, в котором как бы продолжается радостное возбуждение, связанное с отъездом. И вскоре радостный смех Гогена умолк. Поль опять стал прежним молчаливым юношей.

Жизнь на море не принесла Полю удовлетворения. Океан многое обещает, но не выполняет своих обещаний. Он сначала дает, а потом отбирает обратно. Ты приезжаешь в порт, потом снова снимаешься с якоря. Жизнь моряка – бродячая жизнь, и порты для него лишь временные остановки. А сын Алины, юноша, потерявший родную почву, подсознательно стремился отнюдь не к бродяжничеству. Для него важно было не море, а порт. Ему мерещились сказочные дали – они были не похожи на то замкнутое пространство, в пределах которого бесконечно кружило по волнам трехмачтовое судно. «Лузитано» плыл по ночному морю. Гоген на мостике слушал исповедь вахтенного офицера, которому должен был помогать:

«Он рассказал мне, как служил юнгой на маленьком судне, совершавшем длительные рейсы в Океанию с грузом всякого залежалого товара. Однажды утром он драил палубу и свалился за борт – никто этого не заметил. Но паренек не выпускал из рук швабры и благодаря ей сорок восемь часов продержался на поверхности океана. По невероятной случайности проходивший мимо корабль спас его. Через некоторое время этот корабль бросил якорь у маленького гостеприимного островка. Наш юнга отправился прогуляться на остров, задержался там дольше положенного срока, и корабль ушел без него. Юнга пришелся по душе жителям острова и зажил среди них, ничего не делая. Его в два счета лишили невинности, приютили, накормили и стали ласкать и баловать кто как мог. Он был необыкновенно счастлив.

Продолжалось это два года, но однажды утром к острову причалил другой корабль, и наш паренек захотел вернуться во Францию».

«Лузитано» форштевнем рассекал ночное море. «Господи, какой же я был дурак! – воскликнул вахтенный офицер. – И теперь я вынужден тянуть эту лямку – скитаться по морям... А я был так счастлив! С дикарями так хорошо. Но что поделаешь – тоска по родине!»

* * *

После двух плаваний на «Лузитано» в Рио-де-Жанейро Поль получил повышение. Из ученика лоцмана он стал вторым лейтенантом (это означало уже не двадцать, а пятьдесят франков жалованья) на «Чили» – трехмачтовом судне водоизмещением тысяча двести семьдесят семь тонн. В конце октября 1866 года судно отправилось из Гавра в кругосветное плавание, рассчитанное больше чем на год²⁰.

Направившись сначала в Кардиф, «Чили» двинулось по пути, уже знакомому Полю, в Южную Америку, потом к Патагонии и Магелланову проливу – к холодной и неприветливой оконечности континента, где спал последним сном Кловис Гоген.

Для второго лейтенанта этот путь был и знакомым и незнакомым. Когда трехмачтовик шел вдоль чилийского побережья, не было ли у Поля такого чувства, будто он совершает паломничество? Из Вальпараисо парусник направился к Иквикве, и тут – о воспоминания! – земля

²⁰ Это плавание продолжалось ровно тринадцать с половиной месяцев. Оно единственное из всех плаваний Гогена, подробности которого нам до сих пор неизвестны (не считая Вальпараисо), но я смог восстановить его в общих чертах благодаря разбросанным в разных местах указаниям: в том же воспоминании Гогена «Прежде и потом» (Иквикве), в его переписке (Табога), в интервью, данном им «Эко де Пари» 13 мая 1895 года (Таити), в двух статьях Октава Мирбо, опубликованных той же газетой 18 февраля 1891 и 14 ноября 1893 годов (Таити) и в книге Шарля Мориса о Гогене (Индия).

вдруг заходила ходуном. Дома рушились, корабли подбрасывало на волнах. Уже чувствовалась близость Перу.

Вдоль перуанских берегов трехмачтовик двигался к Центральной Америке. Возможно, он заходил в какой-нибудь порт, может быть, даже в Каллас. Но для Поля Лима была отныне недостижима. «Все или ничего», – заявила Алина генералу Эченике. Лима стала теперь просто названием грезы, цветом мечты.

Сквозь эту мечту Поль и глядел на мир, на города, в которые заходил его корабль.

Неподалеку от порта Панама, «Чили» пришлось бросить якорь у Табоги – одного из многочисленных островов, разбросанных в заливе. Табога, гористый островок два километра в длину и полтора километра в ширину, на триста метров вздымался над зеркалом вод Тихого океана. Тамариндовые деревья, пальмы и олеандры купались в солнечном свете. Туземцы ходили почти голые и жили, не зная забот, потому что природа щедро наделяла их плодами, рыбой и раковинами – всем тем, что им было нужно. Глазами своей мечты смотрел Поль на этот остров вечной весны.

Вскоре ему открылись и другие острова – Полинезия, Таити... Поль глядел на эту «очарованную землю», «девственную землю», где жил «примитивный и простой народ». Вазы, керамические изделия инков оживали в потемках дома в Сен-Клу. Детство Поля смыкалось с детством человечества. Океан катил на песчаные отмели длинные, бормочущие волны, которые навевали покой, точно материнская колыбельная песня.

Алина пела сыну песни в доме дона Пио. Поль еще не знал, что голос матери умолк, умолк навеки. Только когда он прибыл в Индию, ему сообщили, что Алина умерла в Сен-Клу 7 июля.

Поль Гоген еще не знал, что его детство умерло.

II. Человек с печатью на устах

*В эту самую ночь открылось во мне мое внутреннее око, и
предстали ему небеса, мир идей и бездны ада.*

Сведенборг

В декабре трехмачтовик «Чили» вернулся в Гавр.

Отныне у Гогена не осталось дома – кроме семьи братьев Ароза. Дом в Сен-Клу был для него пуст и неприютен. Там теперь хозяйничала Мари, девушка властная, которая, вероятно, была не прочь злоупотреблять своим правом старшей... Гоген решил снова уехать. Ему было девятнадцать лет, предстояло отбыть срок воинской повинности. Он решил поступить в военный флот.

Несколько недель спустя план был осуществлен.²⁶ февраля 1868 года вчерашний второй лейтенант стал матросом третьей статьи (матрикулярный список 1714), прибыл в Шербур и вскоре был зачислен кочегаром на корвет «Жером-Наполеон» мощностью 450 лошадиных сил. Только что построенный корвет был переделан в императорскую яхту и отдан в распоряжение принца Наполеона, чаще называемого Жеромом. Корвет «Жером-Наполеон» все время находился в плавании – из Ла-Манша шел в Атлантику, а оттуда в Средиземное море. В течение многих месяцев Гоген жил общей жизнью со ста пятидесятью членами экипажа – разнообразие в нее вносили лишь стоянки в порту. Это были то Лориан, то Генуя, то Лиссабон, то Кале, то Гибралтар.

Гоген проработал кочегаром всего несколько недель. Его перевели в рулевое отделение. Это было как раз тогда, когда «Жером-Наполеон», на борту которого в этот момент находились принц Наполеон и его жена, принцесса Клотильда, готовился отчалить из Тулона. Их королевские высочества в течение июня и июля совершили плавание по восточной части Средиземного моря и по Черному морю от Мальты до болгарского порта Варна, от Константинополя и Салоник до островов Киклады.

Глазам Гогена открывались все новые пейзажи. В сентябре корвет пересек Ла-Манш и по Темзе дошел до Лондона. На следующий год (это были апрель-май 1869 года) новое плавание: из Марселя «Жером-Наполеон» направился в Бастию, потом в Неаполь, оттуда в Корфу и к берегам Далмации, и дальше, по Адриатическому морю, к Триесту (родному городу принца) и Венеции²¹.

²¹ До сих пор маршруты Гогена на «Жероме-Наполеоне» были неизвестны. Данные, которые я здесь сообщаю, почерпнуты мной из «Матрикулярных списков кораблей за 1863–1880 годы», сохранившихся в архивах истории морского флота.



Принц Наполеон и его жена принцесса Клотильда.

Военный флот разочаровал Гогена еще больше, чем торговый. Дисциплина его тяготила. Грубость товарищей отталкивала. На суше и на корабле матросы ссорились, затевали драки. Эти потасовки претили Гогену, он старался держаться от них в стороне. Но горе тому, кто вздумал бы искать с ним ссоры. Тяжелый труд, морской воздух, суровое и в то же время здоровое существование закалили его, укрепили мышцы. Среднего роста (1 метр 63 сантиметра), Гоген был хорошо сложен – узкобедный с мощным торсом. Хотя он не любил грубости и не ввязывался в матросские побоища, он яростно защищался, если его задевали. Однажды в ответ

на замечание старшины, которое он счел несправедливым, он схватил старшего по чину за шиворот и окунул головой в чан.

Эта история едва не кончилась военным трибуналом. Гогену, стяжавшему славу строптивца, пришлось прослужить 28 месяцев, прежде чем он дождался повышения – 1 июля 1870 года его произвели в матросы второй статьи.

В ту пору королевская яхта стояла в Шербуре. 3 июля она должна была выйти в плавание к мысу Норд – плавание было задумано как развлекательная прогулка, по преследовало и научные цели. Принц Наполеон уже совершил в 1856 году плавание с научной целью в арктические воды, в Гренландию. На этот раз он собирался продолжить свои наблюдения в Лапландии и на Шпицбергене в обществе нескольких ученых и своего друга Эрнеста Ренана. «Жером-Наполеон» бросил якорь в Питерхеде, чтобы оттуда направиться к берегам Норвегии. Погода стояла отличная, на редкость ясная. Корвет, делая пятнадцать узлов, прибыл 8 июля в Берген. Там путешественников ждали тревожные вести из Франции: в связи с тем, что один из Гогенцоллернов под нажимом Бисмарка заявил претензии на испанский трон, отношения Франции с Пруссией резко ухудшились.

Принц Жером, слишком поверхностный, чтобы быть по-настоящему честолюбивым, все-таки испытывал некоторую досаду, что не добился успеха ни на каком поприще. На его выходки уже никто не обращал внимания, но он со свойственной ему непосредственностью открыто и яростно критиковал политику своего двоюродного брата, императора, которого он именовал «олухом». Война? «Они на это не пойдут», – объявил принц. И «Жером-Наполеон» продолжал плавание. Вечером 13 июля он пересек полярный круг.

Снеговые горы, водопады, низвергающиеся со склонов в море, острова с причудливо изрезанными берегами, над которыми стаями взлетают гаги, непрерывно меняющиеся свет и воздух – все это вызывало восторг путешественников, совершенно позабывших о том, что происходит в мире. 14 июля яхта подошла к острову Тромсе. Несмотря на тревожную депешу, полученную им в этот день, принц упорствовал в своем намерении увидеть «Великие льды». Но депеши следовали одна за другой.

17 июля в шесть утра принц узнал, что война с Пруссией неизбежна. Он дал приказ отчаливать. «Куда мы держим путь, ваше высочество?» – «В Шарантон!» – завопил принц, в ярости расхаживая по палубе. Это был один из тех черных дней, когда, по выражению некоторых придворных, «он смахивал на Виттелиуса»²². Прибежавшему Ренану он заявил: «Это их последняя глупость, других они уже не наделают!»

Через Эбердин «Жером-Наполеон» прибыл в Булонь. Это было 21 июля, через два дня после вступления Франции в войну²³. Корвету надлежало присоединиться к эскадре Северного моря. Пополнив свои запасы продовольствием в Шербуре, корвет вышел в море 25 июля и начал патрулировать в датских и немецких водах, доходя иногда до Данцига в Балтийском море. С 26 по 30 августа он стоял в Копенгагене – в том самом Копенгагене, где жила девушка, которой суждено было стать мадам Поль Гоген.

Империя Наполеона III рухнула. 4 сентября была провозглашена Республика. 19 сентября «Жером-Наполеон» был переименован в «Дезе». В октябре он взял в плен один за другим четыре немецких корабля, в том числе 11 октября корабль «Франциска». Гоген оказался в той

²² А. де Вьель-Кастель. Мемуары.

²³ Матрикулярный список кораблей почти не упоминает об этом плавании в Заполярье. Исследователям Гогена до сих пор была известна только последняя остановка в Тромсе. Познакомившись с материалами, посвященными принцу Наполеону (в частности, с работой доктора Фламариона), я узнал, что в плавании участвовал Ренан. И действительно, в переписке Ренана («Семейная переписка». Париж, 1947) я нашел очень точный и притом почти ежедневный отчет о плавании. Кое-какие дополнительные сведения я почерпнул из интервью с Ренаном, которое Георг Брандес опубликовал в сборнике «Избранные эссе» («Меркюр де Франс». Париж, 1914) и из книги Анриетт Псишари «Ренан и война 1870» (А. Мишель. Париж, 1947).

части команды, которой было приказано нести охрану на корабле – он покинул борт «Франциски» только 1 ноября.

Стремительно развивавшиеся события принимали все более тяжелый оборот для французских войск. В середине декабря «Дезе» был направлен к Бордо. Он курсировал вдоль портов Атлантики вплоть до конца февраля 1871 года, когда были подписаны предварительные условия мирного договора.



Эрнест Ренан.

Война окончилась. А у Гогена было только одно желание – как можно скорее вырваться из своей плавучей тюрьмы. Пять лет, проведенных на море, убедили его, что он совершил ошибку, выбрав профессию моряка. По его собственным словам, этот опыт «отравил его

жизнь»²⁴. Он поддался мечте, которая обманула его. И та же мечта, та самая мечта порой в часы отдыха вкладывала в его руку карандаш и заставляла рисовать... Он не придавал этому большого значения, просто повиновался какому-то импульсу. «Словно убивал время»²⁵.

Последнее плавание привело Гогена в Алжир, оттуда он попал в Тулон. В Тулоне 23 апреля Гоген получил десятимесячный отпуск с правом его продления и сошел на берег с корвета «Дезе».

Он собирался вернуться в семью Ароза. Но где жили теперь братья Ароза? В Париже, взбудораженном последними днями Коммуны? Или в Сен-Клу, сожженном немцами в канун перемирия – 25 января?

Дом Алины тоже подвергся опустошению. Гоген не нашел там ничего – ни воспоминаний о матери, ни перуанской глиняной утвари и фигурок. Все погибло в огне. Прошлое существовало отныне только в воспоминаниях матроса, освободившегося от службы.

* * *

На парижской бирже 6 июня, через несколько дней после падения Коммуны, трехпроцентные бумаги котировались по 53,65 франка. Цена не слишком блестящая, но ни на что иное нельзя было рассчитывать сразу после войны, из которой Франция вышла истерзанной, неуверенной в своем завтрашнем дне.

Подыскивая какое-нибудь место для Гогена, Гюстав Ароза решил устроить его к биржевому маклеру Полю Бертену, контора которого находилась на улице Лафит, 1. Зять Бертена, Адольф Кальзадо, директор финансовой газеты, издававшейся в Париже на испанском языке, – «Фундос публикос», был в то же время директором этой фирмы. Гоген получил должность посредника.

Курсы на бирже в этот момент упали довольно низко, объем сделок сократился, но сведущие люди ожидали, что положение скоро изменится. Необходимость восстановить то, что разрушила война, пополнить запасы товаров и даже выплатить пять миллиардов франков контрибуции немцам должна была в ближайшем будущем вызвать большое финансовое оживление.

Гоген никак не был подготовлен к тому, чтобы стать биржевым посредником. Но эта профессия не требовала специальных познаний. Посредники получали распоряжения о купле и продаже от биржевых спекулянтов, собиравшихся в кафе неподалеку от биржи или на бульварах и обсуждавших там свои дела, и заносили их в записные книжки. Многие молодые люди из приличных семей, аристократы и буржуа, нашли в этой профессии удобный способ зарабатывать на жизнь или округлить свое состояние.

Гоген прекрасно справлялся с доверенным ему делом. Если бы не его медленная, тяжеловатая, чуть враскачку походка, какой обычно ходят моряки, трудно было бы узнать бывшего матроса в этом молодом, элегантно одетом человеке, в цилиндре, который старательно заполнял свою книжицу, под диктовку клиентов кафе «Тортони» или в «Английском кафе». Однако его первые шаги ознаменовались маленьким происшествием.

В ту пору служащие биржевых маклеров имели обыкновение разыгрывать новичков. Когда Гоген в первый раз вошел в огромный зал биржи, его коллеги дважды сбили с него цилиндр. Заметив, что над ним потешаются, Гоген бросился к группе зубоскалов, схватил одного из них за горло – кисти у Гогена были узкие, но пальцы длинные – и стал душить. У него с большим трудом вырвали его «жертву».

На бирже Гоген не завел себе друзей. В кругу биржевиков, как за десять лет до того в семинарии и позже во флоте, он держался особняком. Его отношения с окружающими почти

²⁴ Из письма сестры Гогена Марии к Шарлю Морису.

²⁵ Октав Мирбо.

всегда ограничивались профессиональными рамками. То, что занимало или забавляло его коллег, оставляло его равнодушным. Чужак. Ни с кем настоящей душевной близости. Его считали странным, скорее, неприятным. Его замкнутость принимали за высокомерие, тем более что на деловом поприще Гоген действовал довольно успешно. Скупой на слова, посредник умел, однако, убедить нерешительных биржевых спекулянтов, соблазнить их выгодной перспективой, выдать надежду за уверенность. А так как биржевые курсы неуклонно повышались, его прогнозы часто оправдывались. Бертен был очень доволен своим посредником. Ароза радовался, что выбрал для Поля именно это поприще.

Вообще с семьей Ароза отношения у Гогена были прекрасными. В их доме задумчивый Гоген совершенно преображался. Он становился оживленным. Его лицо, почти всегда хранившее серьезное выражение, иногда смягчалось улыбкой. Глаза прояснялись – из серовато-зеленых становились голубыми. Гоген слушал.

В семье Ароза почти не говорили о финансовых делах. Гюстав Ароза и его брат Ашиль при первой возможности отвлечься от деловых забот возвращались к любимой теме – искусству, живописи. Несколько лет назад Гюстав расширил круг своей любительской деятельности.

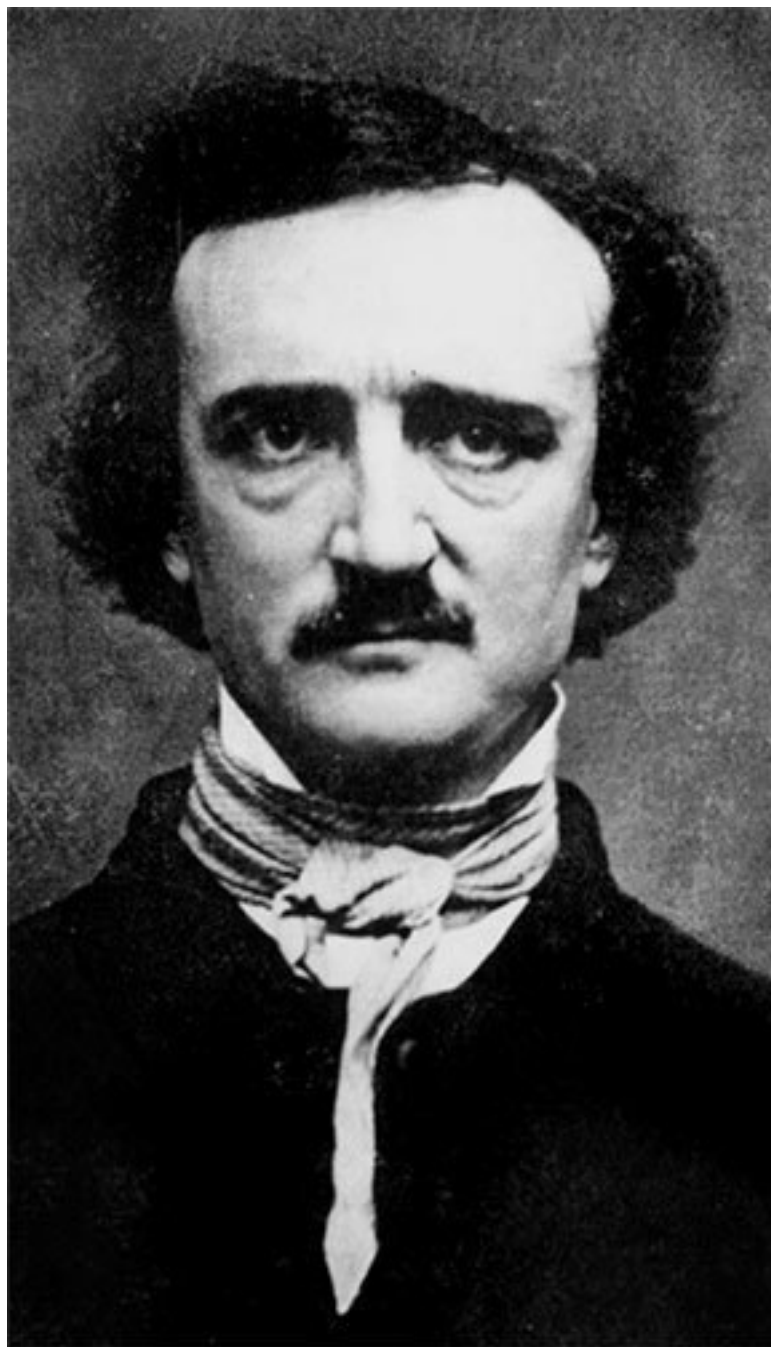
Он уже не ограничивался коллекционированием. Откупив патент на особый метод фотографии, он иллюстрировал такие художественные издания, как «Колонна Траяна» Вильгельма Френера или «Прудон» Шарля Клемана. Всех, кто их окружал, Ароза заражали своей страстью к искусству. Младшая дочь Гюстава, Маргарита, хотела стать художницей. Даже крестник Ашиля, мальчик лет девяти-десяти, пытался что-то писать на холсте и твердил, что, когда вырастет, тоже станет живописцем²⁶.

Часто по воскресным дням в доме Ароза в Сен-Клу на улице Кальвер или в Вирофлейском лесу Маргарита и Гоген устанавливали рядом свои мольберты: девушка обучала биржевого посредника начаткам живописи.

Надо полагать, Гоген не заставил себя долго упрашивать, чтобы взять в руки кисти, которые ему предлагала Маргарита. Этот сдержанный и пассивный с виду юноша, этот углубленный в себя молчун, который мальчиком вырезал рукоятки кинжалов, а матросом рисовал на корабле, испытывал потребность выразить себя, но не в беседе, не в играх, не в дружеских отношениях. Он, который с материнской стороны через семью Шазаль вел свое происхождение от людей, так или иначе имевших отношение к искусству²⁷, занимаясь живописью, удовлетворял тем своим смутным, но изначальным потребностям, которые человек, обнаруживший их в себе, начинает считать неотъемлемой частью своего «я».

²⁶ Этот мальчик, тайна рождения которого до сих пор не раскрыта, до десятилетнего возраста жил у Ашиля Ароза. В 1872 году, после своей женитьбы, финансист с ним расстался. Мальчик стал в дальнейшем не художником, а музыкантом. Это был Ашиль-Клод Дебюсси. С того момента, как они расстались, и вплоть до своей смерти Дебюсси никогда больше не упоминал имени своего крестного отца.

²⁷ Брат Андре Шазалья, Антуан, профессор при Музее естественной истории, умер в 1854 году. Он регулярно выставлял свои полотна в Салоне. В 1831 году он удостоился медали второго класса. Его сын Шарль-Камиль, родившийся в 1825 году, пошел по его стопам. С 1849 года он выставлялся во всех Салонах. В 1851 году удостоился медали третьего класса, в 1861-м – второго (Шарль-Камиль Шазаль умер в 1875 году).



Эдгар Аллан По.

Стоя рядом с Маргаритой, Гоген делал наброски пейзажей. Само собой, он писал под влиянием многократно виденных в доме Ароза произведений, которые братья охотно ему поясняли, в частности, произведений Коро. «Дивный Коро... Он был мечтателем, глядя на его полотна, я тоже предаюсь мечтаниям».

Гоген мечтал, глядя и на другие полотна – не только на те, что были собраны у братьев Ароза, как полотна Делакруа, которым он всю жизнь будет восхищаться («У этого человека темперамент хищника»), Курбе и Домье, «который лепит иронию». Когда у биржевого посредника выдавалась свободная минута, он шел в музеи, в галереи. Впрочем, ему достаточно было выйти из своей конторы и бродить по улице Лаффит – тогда это был центр торговли произведениями искусства, – чтобы любоваться картинами.

Заработки Гогена росли, но он вел размеренный, благоразумный образ жизни. Он поселился на улице Ла Брюйера, 15, неподалеку от жилища своего опекуна, и вечером, где-нибудь наскоро поужинав, сразу возвращался к себе. Он не искал развлечений – разве что изредка по субботам посещал балы. Он предпочитал сидеть дома с книгой. Среди его любимых авторов были Эдгар По, Барбе д'Оревиля, Бальзак, Шекспир. Он читал не слишком много книг, но постоянно возвращался к тем, которые ему нравились, как, например, «Философские этюды» («Серафита» и «Поиски абсолюта») Бальзака.

Самый пунктуальный и самый ловкий среди служащих Бертена, он быстро заполнял распорядками свою записную книжку. Человек незаурядного ума, он соображал быстрее своих товарищей. Да и действовал смелее. Там, где другие колебались, он шел на риск и умел увлечь за собой клиентов. Трудности его не смущали. И это не было фанфаронством. Просто он верил, что все всегда устраивается к лучшему. «Флора Тристан, – писал Жюль Жанен, – очень здраво судила об окружающем мире, но вдруг туманные облака снов наяву и фантастические лабиринты воздушных замков заволакивали свет ее разума». В этом смысле биржевой посредник был похож на свою бабу. Он очень быстро освоил практику биржевых операций и давал советы как человек искушенный в тайнах финансового рынка. Но он тоже строил воздушные замки, не допуская, что дела могут принять и не самый счастливый оборот. В другое время его иллюзии рассеялись бы очень быстро. Но в эту пору Франция опять переживала подъем, прогнозы Гогена оправдывались, а это укрепляло его оптимизм, снискало ему славу осмотрительного биржевика и уважение Бертена.



Оноре Домье. Игроки в шахматы.



Оноре де Бальзак.

«Скупец – это безумец», – писала Флора Тристан. Гоген зарабатывал деньги, но не думал о них. Он не придавал им значения. Деньги текли у него между пальцев. Он был беспечен как ребенок или как дикарь. «У меня два свойства, которые не могут быть смешными: я ребенок и я дикарь».

Однажды, еще в Орлеане, малыш Поль принес из школы несколько шариков из цветного стекла. «Мать в негодовании спросила, откуда у меня эти шарики. Опустив голову, я объяснил, что получил их в обмен на свой мяч». «Как, ты, мой сын, занимаешься торговлей?» В устах

моей матери слово «торговля» звучало как нечто презренное. Бедная мама! Она была права и неправа, в том смысле, что, уже ребенком, я понимал: на свете есть многое такое, что не продается».

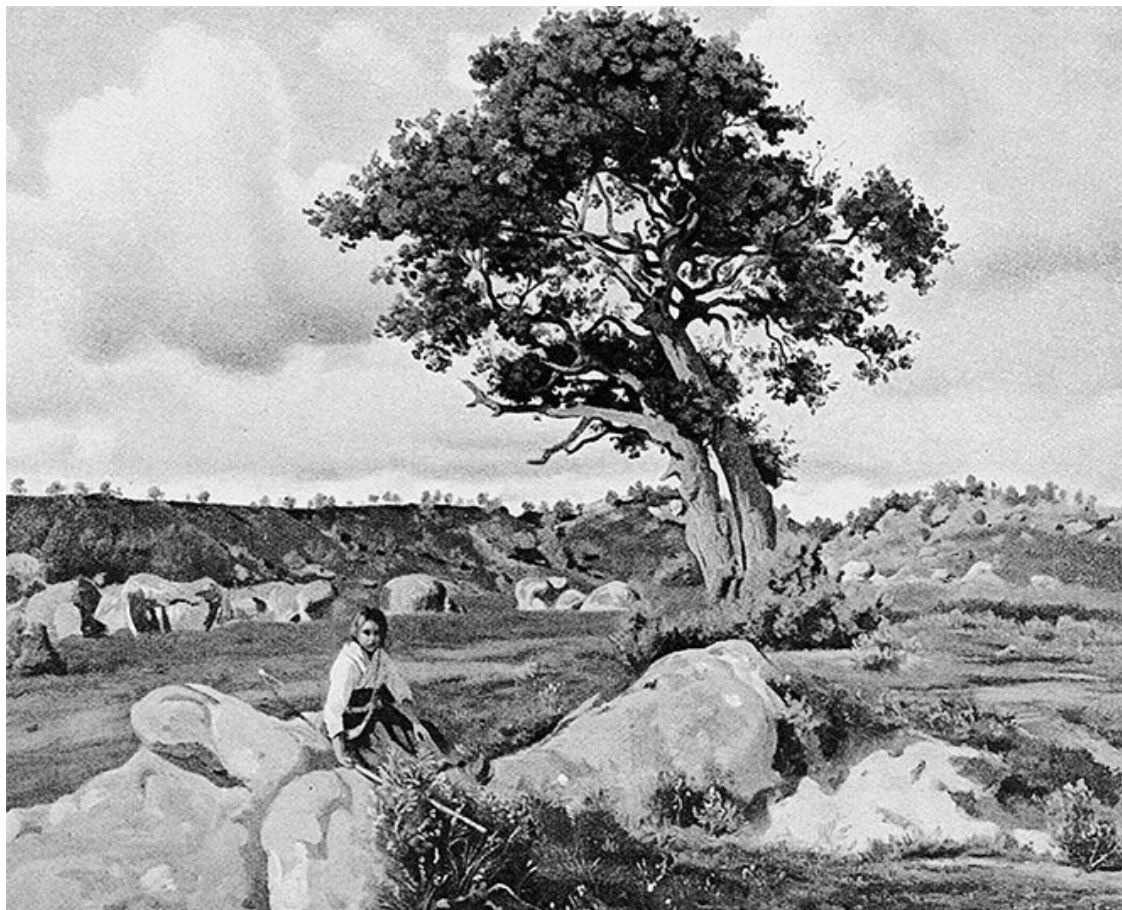
Ни одна удачная биржевая спекуляция не вызывала у биржевого посредника такого трепета, какой вызывали у него картины Энгра, Веласкеса или экзотическая первобытная глиняная утварь, будившая в нем воспоминания и навевавшая грусть. Как хороша была его мать в своем перуанском костюме, когда она прогуливалась среди золотистых цветов аллеи Нарцисов.

В лесах Виль-д'Авре обвитые плющом дубы Коро, «проникновенных золотистых оттенков», отличались «тропической сочностью»...

* * *

Время от времени Гоген обедал в семейном пансионе, который открыла жена скульптора, мадам Обе.

В конце 1872 года он познакомился там с двумя молодыми датчанками, приехавшими в Париж. Одна из них, гувернантка Метте-София Гад, сопровождала другую – наследницу богатого копенгагенского промышленника Марию Хеегорд.



Камиль Коро. Лес Фонтенбло. Дуб.

Внимание нашего биржевика привлекла не дочь промышленника, а гувернантка. Смелое лицо Метте-Софии, ее густые светлые волосы, пышные округлые формы, решительный вид, откровенная, без робости манера говорить и расспрашивать покорили его с первого взгляда.

За первыми встречами последовали другие. Метте, захватив с собой Марию Хеегорд, без смущения приходила в маленькие ресторанчики неподалеку от биржи, где имел обыкновение завтракать Гоген. Молодым людям (Гогену исполнилось двадцать четыре, Метте – двадцать два) было о чем поговорить. Гоген знал Копенгаген. В августе 1870 года на «Жероме-Наполеоне» он прошел через Каттегат вблизи острова Лесе, где в сентябре 1850 года в Вестерхавне родилась Метте и где ее отец был окружным судьей.

После смерти отца Метте жила в Копенгагене с матерью, двумя братьями и двумя сестрами. У матери была только маленькая пенсия, и Метте смолоду пришлось думать о том, как заработать на жизнь. В семнадцать лет она устроилась гувернанткой в семью политического деятеля, министра Эструпа. Жизненный опыт рано сделал ее взрослой, а неудачный роман с морским офицером научил быть осторожной и в предвидении последствий смирять сердечные порывы. Впрочем, Метте это не стоило никакого труда. Она отнюдь не отличалась чувствительностью и еще менее чувственностью. Любовные интрижки, кокетство не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Она считала их ребячеством. Ее независимость, свободная манера держаться и выражаться напрямик резко отличали ее от многих молодых девиц. Даже ее братьев это иногда удивляло, а подчас коробило. В самом деле, природа словно ошиблась, создавая Метте-Софию Гад. В этой рослой, пышногрудой девушке было больше мужского, чем женского. Кстати, она охотно надевала мужскую одежду, а если ей предлагали сигару – не отказывалась от нее²⁸.

Эти ее черты, возможно, объясняют первую любовную неудачу Метте. Они должны были отталкивать от нее многих мужчин. Но они же привлекли и удержали далекого от реальности мечтателя Гогена, которого до этого еще ни разу всерьез не пленила ни одна парижанка. А в этой крепко сбитой иностранке, властной, самоуверенной и лихой, он увидел «оригинальный характер», его пленивший. В ее присутствии исчезало чувство одиночества, которое так часто его мучило. Рядом с этой холодной и рассудительной скандинавкой он испытывал ощущение уверенности – вновь обретенной уверенности. Метте-София Гад заполняла пустоту.

Гоген увлекся. В пустынном для него Париже, где он чувствовал себя – и характерно сформулировал это однажды – «одиноким, без матери, без семьи», Метте в угаре страсти рисовалась ему сильной женщиной, покровительницей, объятиям которой он может довериться как дитя. Он включил Метте в мир своего воображения.

Молодые люди быстро пришли к согласию.

Метте весело смеялась, довольная тем, что покорила этого благоразумного молодого человека, который избавит ее от необходимости думать о хлебе насущном, этого биржевика, успешные спекуляции которого свидетельствовали о том, что он хорошо разбирается в цифрах и знает толк в деньгах.

В начале 1873 года Метте-София Гад вернулась в Копенгаген, чтобы объявить родным о своей помолвке.

* * *

Гюстав Ароза добросовестно выполнил миссию, возложенную на него Алиной. Решение и выбор Гогена он одобрил вполне, так же как и Бертен.

Оба дельца сразу же расположились к Метте-Софии Гад, которая своим жизнелюбием, самоуверенностью, бойким остроумием и здравым смыслом произвела на них самое благоприятное впечатление. Эта положительная девица казалась им самой подходящей подружкой для их

²⁸ Эти черты впоследствии усугубились. В 1905 году, когда еще существовали купе «для дам», контролер Южной железной дороги пытался вывести из одного такого купе мужчину в галстук и кепке, курившего длинную сигару, – это была Метте-София Гад.

подопечного. Они были свидетелями во время брачной церемонии, которая состоялась в субботу 22 ноября в мэрии IX округа. Двумя другими свидетелями были отец Гюстава, восьмидесятисемилетний Франсуа Ароза, и секретарь датского консульства. Так как Метте была протестанткой, церковный брак был освещен в лютеранском храме Искупления на улице Шоша.

Молодая чета поселилась в маленькой квартирке на площади Сен-Жорж, 28²⁹, которую Гоген со вкусом обставил. Биржевик сам продумал всю обстановку до мелочей. Заработки позволяли ему не стесняться в расходах. Бертен повысил его в должности, назначив ликвидатором. Гоген накопил дорогих вещей – старинный фаянс, восточные ковры. Теперь он стал еще большим домоседом, чем когда был холостяком. Ему никуда не хотелось выходить. Читать, писать красками, рисовать (он попытался нарисовать портрет Метте) – таковы были его единственные развлечения.

«Мы провели чудесную зиму, разве что на взгляд других жили немного отшельниками», – писал он в апреле 1874 года жене промышленника, госпоже Хеегорд. На взгляд других – отшельниками, на взгляд Метте – безусловно тоже. Молодая женщина любила светскую жизнь, сборища, шум и суету. В отличие от мужа, всегда склонного к замкнутости, она была общительного нрава. Замужество льстило ее тщеславию, а оно у нее было весьма велико. Ей хотелось покрасоваться перед окружающими, щегольнуть красивыми нарядами, услышать комплименты. Положение Поля, все более завидное (несмотря на политические волнения³⁰, дела на бирже шли очень бойко), давало возможность молодой чете завязать связи с влиятельными людьми.

Метте пыталась втолковать Гогену, насколько эти связи полезны и важны для его карьеры. Но это был напрасный труд. Кроме братьев Ароза и семьи Кальзадо Гоген почти ни с кем не водил знакомства. Метте приходилось довольствоваться встречами с немногочисленными приятельницами, с которыми она свела случайную дружбу, и с заезжими скандинавами, вроде норвежского художника Фрица Таулова, ставшего незадолго перед тем ее деверем (он женился на сестре Метте Ингеборг).

Впрочем, Метте не жаловалась. Ей не в чем было упрекнуть Поля. Он был образцовым мужем, внимательным и щедрым – он никогда не отказывал в деньгах своей «женушке», и не было сомнений, что он будет таким же образцовым отцом. Метте ждала ребенка.

Но как ошибались коллеги Гогена, когда в его неразговорчивости, в отчужденном выражении лица и глаз с тяжелыми веками, в складке рта, казавшейся иронической, видели ограниченность и самодовольство! Если бы они знали, как мало значения придавал он социальной иерархии! Настолько мало, что в маклерской конторе свел дружбу с одним из самых скромных чиновников, получавшим двести франков в месяц.

²⁹ Этот адрес, упомянутый в брачных записях прихода церкви Искупления, подтвержден записью о рождении первенца Гогена (Записи актов рождений мэрии IX округа).

³⁰ Эти волнения были вызваны главным образом подготовкой конституционных законов. Третья Республика официально родилась только в 1875 году, а в эту пору еще шла борьба между монархистами и республиканцами.



Фриц Таулов. Водяная мельница.

Приземистый, коротконогий, большеголовый и бородатый; высокий лоб, глаза слегка нависают, плавные жесты, речь бойкая, взгляд веселый – таков был этот экспансивный и добродушный чиновник. Он родился в 1851 году (то есть на три с половиной года позже Гогена) в департаменте Верхняя Сона во Френ-Сен-Мамес от эльзасца и уроженки Франш-Конте. Имя его было Клод-Эмиль Шуффенекер. Но обычно его называли просто Шуфф. Воспитанный дядей и теткой, он вначале работал вместе с ними на их маленькой шоколадной фабрике, неподалеку от Парижского рынка, потом поступил на службу в Министерство финансов и, наконец, попал к Бертену. Хотя в отличие от Гогена Шуфф был бережлив и благоразумен, финансовые проблемы его совершенно не интересовали. И наверное, сослуживцы Гогена были бы искренно удивлены, доведись им слышать, о чем говорят между собой ликвидатор и Шуфф. Они рассуждали только о рисунке и живописи.

Шуфф мечтал стать знаменитым художником. Слава! Надо было слышать, как он произносит это слово своим скрипучим голосом! В восемнадцать лет он удостоился золотой медали в Парижской школе рисунка, которую посещал по вечерам, и эта награда внушила ему полную уверенность, что его ждет блестящее будущее на поприще живописи. После работы Шуфф посещал мастерские, руководимые художниками академического направления, такими, как Поль Бодри и Каролус-Дюран. Особенно он почитал Бодри.

Теперь Гоген и Шуффенекер проводили вместе большую часть досуга. Шуфф, вероятно, не принадлежал к числу знакомств, о которых мечтала Метте. Вид у чиновника был, скорее, смешной – одежду и обувь он покупал у старьевщиков. Но этот веселый, беззлобный, почти беззащитный и по-детски наивный человек с преданным собачьим взглядом, который, восхищаясь Гогеном, он не без восхищения устремлял и на Метте, сразу же ей понравился. И она охотно принимала его.

Увидев наброски Гогена, Шуфф тотчас с восторгом заявил, что у него огромное дарование. Он ввел его в академию Колоросси, которая помещалась на Левом берегу, на улице Гранд-Шомьер³¹.

Гоген сопровождал Шуффа не только к Колоросси. Иногда в воскресенье единомышленники назначали друг другу свидание в Лувре. А иногда отправлялись писать в какой-нибудь пригород.

Вскоре, однако, Гогену пришлось прекратить эти вылазки. Несмотря на свое крепкое сложение, Метте была неженкой, она стонала и плакала из-за малейшего недомогания. Естественно, что ее пугали приближающиеся роды. Она хандрила, еле передвигалась по комнате. Гоген не отходил от нее ни на шаг.



Поль Гоген. Семья Шуффенекера.

Но и тут он не сидел без дела. Десятки раз повторяя один и тот же сюжет, он вновь и вновь рисовал этюды рук и ног. Метте, которой эти рисунки очень нравились, была поражена дарованием мужа. Какой приятный любительский талант!

Но этот любитель вкладывал столько усердия и энергии в свою работу, что становился глух и слеп ко всему окружающему. Чего же все-таки искал Гоген на кончике своего каран-

³¹ Академия Колоросси сменила основанную в 1815 году папашей Сюисом на острове Сите Свободную академию, которая была так популярна среди молодых художников. Проданная Сюисом некому Кребассолу, академия впоследствии была куплена итальянцем-натурщиком Колоросси, который после войны 1870 года перенес ее на Монпарнас. Колоросси был родом из Пиччиниско – деревни в Абруцци, которая поставляла парижским ателье бесчисленное множество натурщиков. Во время Второй Империи итальянцы в качестве натурщиков почти всюду вытеснили французов. Эту монополию они сохранили до войны 1914 года.

даша? Разве ему чего-то не хватало в жизни – в том позолоченном существовании, которому многие завидовали?

Госпожа Хеегорд спрашивала Гогена в письме, не собирается ли он приехать в Данию.

«Я принадлежу к тем людям, – отвечал ей Гоген в июле, – которых судьба приговорила к оседлости. Я слишком много путешествовал и поэтому теперь обречен на пожизненный труд. Будем же переносить эту участь по возможности стойко».

Странно звучат эти слова в будничном письме. Как отдаленный грохот, как глухой грозовой раскат.

* * *

31 августа Метте родила сына, которого назвали Эмилем. Гоген был в восторге. Молчальник громко ликовал, глядя на этого младенца, «белого, как лебедь, и сильного, как Геркулес», на это «чудо» – своего сына! «Не думайте, что так судит о нем материнское и отцовское сердце, это всеобщее мнение», – объявил он госпоже Хеегорд.

Оправившись после родов, Метте с ребенком уехала в Данию и провела там некоторое время. После ее возвращения маленький Эмиль стал моделью Гогена. Гоген неумоимо писал и рисовал сына, теща одновременно свою любовь к искусству и отцовскую любовь.

Работа у Бертена отнимала все его время. 4 сентября, в годовщину падения империи, когда правительство опасалось волнений, продажная цена ренты достигла ее номинальной стоимости. Деньги текли на биржу, которую во время собраний, продолжавшихся по три часа, заполняла все более многочисленная и шумная публика. Вокруг «корзины», у которой располагались маклеры, волновалась, кипела распаленная страстью к игре и к наживе толпа спекулянтов и всевозможных посредников; некоторые из них, сбившись в кучки, сообщали друг другу на ухо названия ценных бумаг, цифры, давали советы, что купить и что продать, а снаружи, у колоннады Биржи, в любую погоду, под гомон еще более густой и, может быть, еще более возбужденной толпы производили свои операции агенты неофициальной биржи – кулисы.

Но как ни был Гоген занят своей службой, он снова прилежно посещал вместе с Шуффом академию Коларосси. В противоположность большинству любителей, которые очень легко удовлетворяются своими маленькими достижениями, не замечая трудностей, которые предстоит преодолеть, Гоген чем больше рисовал и писал, тем более сложной считал свою задачу и тем острее чувствовал неудовлетворенность. Он понимал, что ничего не знает. Мрачный, недовольный собой, он, однако, не отступал и терпеливо, упорно, настойчиво возвращался к мучившим его проблемам.



Поль Гоген. Эмиль Гоген.

Гоген не принадлежал к числу тех пламенных натур, которые продвигаются вперед в разрушительном порыве, в вихревом горении. В нем все совершалось внутри, в недрах души. Внешне ничто в нем не выдавало медленного кипения лавы. Разве что изредка в академии Коларосси у него вырывалась более резкая фраза или категорическое суждение, которые говорили о том, что живопись для него не просто беззаботное времяпрепровождение. Гогена раздражали столпы официального искусства, которых никогда не признавали братья Ароза. Одному венгру, который отрекомендовался учеником Бонна, Гоген ответил: «С чем вас и поздравляю, – и добавил, намекая на выставленный Бонна в Салоне 1875 года «Портрет госпожи Паска»: – Своей картиной в Салоне ваш патрон одержал победу на конкурсе рисунка для новой почтовой марки!»

«Славный Шуфф», которого ослепляли успехи академиков, бьющая на эффект крикливая пышность какого-нибудь Каролюса-Дюрана, затянутого в камзол по моде XVI века, слыша подобные заявления Гогена, находил, что тот слишком уж язвителен и непримирим.

Метте забавляли жаркие споры двух художников-любителей, которые иногда велись при ней. Но она не придавала значения этим «пустякам». Слишком занятая собой, чтобы интересоваться тем, что ее непосредственно не затрагивало, она жила в маленьком мирке собственных забот, тщеславия, женских прихотей, жажды нарядов и роскоши. Язвительный психолог

сказал бы, что к Гогену ее привязывали только деньги. Она их требовала непрерывно. Ликвидатор в шутку называл ее «продажной».

Но без всякого сомнения, она оставалась в его глазах той самой женщиной, какой он ее вообразил однажды. Он по-прежнему ее любил. Однако в глубине его души, в потаенных ее уголках, зрело смутное и неосознанное разочарование, которое впоследствии, когда пробил час обид, вылилось в долгих и горьких жалобах. Нет, его брак не был «обменом мыслями и чувствами», на который он надеялся, пылкой и стойкой привязанностью, надежным материнским объятием. В конце концов, может, он потому и отдавался с такой страстью живописи, что снова, в который раз, почувствовал себя один на один с самим собой, со своей судьбой человека, которого куда-то звали далекие голоса.

Пока Метте занималась хозяйством (вернувшись из Копенгагена, она наняла служанку – Жюстину), маленьким Эмилем и примеркой у портних, Гоген заполнял колонки цифр в конторе биржевого маклера или стоял с мольбертом на берегах Сены.

С зимнего неба, низкого и унылого, лился свинцовый, зеленоватый свет. Гоген писал заснеженные набережные, холодную реку, по которой вверх и вниз плывут баржи. Безрадостный вид³².

Сомневаясь в себе и словно бы желая получить подтверждение, что его усилия не совсем напрасны, Гоген решил втайне от всех (ни Метте, ни Шуфф не знали о его планах) попытать счастья в Салоне 1876 года. Когда наступил срок представления картин, он послал в жюри «Лес в Вирофле».

Жюри 1876 года, злобно ненавидевшее Эдуара Мане, художника, возбуждавшего в ту пору наиболее жаркие споры, отвергло две картины, представленные этим знаменитым и гонимым автором, но приняло «Лес», написанный каким-то незнакомцем.

«Г-н Поль Гоген... подает большие надежды», – писал один из критиков³³.

Гоген не разделял мнение жюри о Мане. Мане был художником, которого в эту пору своей жизни он считал, пожалуй, наиболее интересным. Он внимательно изучал его картины.

Гоген продвигался вслепую. Целый мир форм, красок, чувств бушевал в нем, а он не мог его уловить. Зыбкий мир, таинственный, как туманности, в которых нарождаются еще не оформившиеся мириады звезд, чья молочная расплывчатая масса переливается в пространстве. Этот мир давил на него. Под влиянием Мане Гоген писал картину за картиной, в частности натюрморты. Посвящая живописи все свободное время, он ошупью, неуверенно искал свою дорогу. Принадлежа к породе бессонных душ, он часто за полночь бился над каким-нибудь начатым этюдом и отрывался от него против воли с тяжелым, гнетущим чувством недовольства собой.

Эта ночная работа совершенно не отражалась на профессиональной жизни Гогена. Каждое утро с безукоризненной точностью Гоген отправлялся к зданию на улице Лаффит, где на третьем этаже находилась контора маклера – нового маклера Галишона, которому Бертен передал свое дело. Так же тщательно и методично, как прежде, Гоген выполнял свою работу, заполняя приказы и бордеро³⁴ своим четким, округлым, без завитушек почерком. Под его пером то и дело возникали названия далеких стран. Названия, перед обаянием которых не могли устоять многие биржевые спекулянты. Люди белой расы покрывали всю планету своими предприятиями, иногда совершенно дутыми, вроде пресловутых калифорнийских золотых приисков, которые за четверть века вызвали к жизни три, а то и четыре сотни финансовых обществ

³² Написанная в 1875 году картина, о которой здесь идет речь, называется «Сена у Йенского моста» и в настоящее время находится в Лувре.

³³ Шарль Ириат в «Газет де боз-ар».

³⁴ Опись, сопровождающая финансовые документы. – Примеч. пер.

с многообещающими названиями и разоряли вкладчиков, плененных химерами. Биржа тоже была своего рода мечтой.

Потом наступал вечер. На первом этаже здания, где служил Гоген и которое одним своим фасадом выходило на Итальянский бульвар, знаменитый ресторан «Мэзон Доре» уже сверкал всеми своими огнями. Для Гогена начиналась его «ночная жизнь».

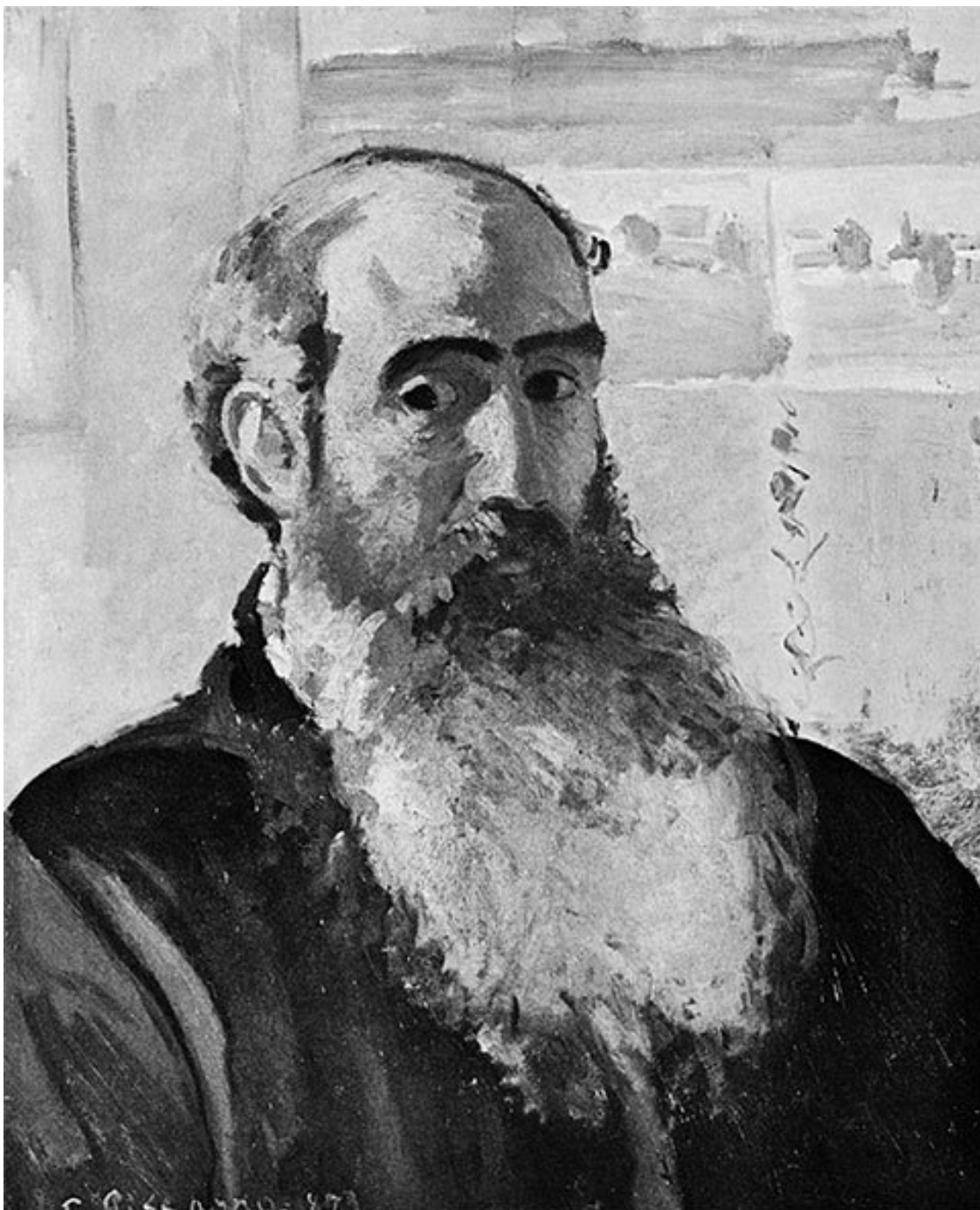
Выйдя от Галишона, биржевик шел в картинные галереи. Совсем близко, на улице Ле Пелетье, открылась галерея торговца Дюран-Рюэля, где весной описываемого нами 1876 года состоялась вторая выставка группы художников, которых теперь называли «импрессионистами». Среди них был Камиль Писсарро, о котором Гоген часто слышал от братьев Ароза. У Гюстава и Ашиля было не меньше восьми картин этого художника, который, несмотря на свой талант, упорный труд и долгую борьбу (Писсарро уже исполнилось сорок шесть лет), продолжал бедствовать. Если ему встречался любитель, готовый уплатить за картину сто франков, Писсарро без колебаний расставался со своим полотном.

Гогену случилось несколько раз заговорить с Писсарро у Дюран-Рюэля, а может быть, и у одного из братьев Ароза – этого было довольно, чтобы Гоген привязался к Писсарро.

Биржевик сразу оценил, как глубоки, обдуманно и выношены суждения этого художника, который был значительно старше Гогена и которому так не повезло. В Писсарро с его пушистой белой бородой и почти голым черепом было что-то от библейского патриарха (по происхождению он был еврей). Увлеченный проблемами техники и различными теориями, не только художественными, но и политическими (Писсарро увлекался социализмом), художник любил делиться с другими своими знаниями, опытом, внушать им свои убеждения. В нем жила глубокая внутренняя потребность в педагогической деятельности. На редкость терпеливый, не склонный к безапелляционности и совершенно лишенный чувства превосходства, он обладал величайшим достоинством педагога по призванию умением ясно излагать свои мысли. Гоген слушал его со страстным интересом. Ему казалось, что Писсарро внезапно осветил ему путь – он почувствовал, что с его плеч упал тяжелый груз.

Писсарро был учеником Коро, потом его увлек Курбе и, наконец, Мане. Он входил в ту самую «банду Мане», которая сложилась после скандала с «Олимпией» в 1865 году и собиралась в кафе «Гербуа», на бульваре Батиньоль. Это кафе стало колыбелью импрессионизма. Писсарро ближе познакомил Гогена с живописью художников-новаторов, которые решительно отказались от приемов академической школы и которых пресса поливала грязью, – это были Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Берта Моризо... Писсарро учил биржевика тому, чему до него учил уже других художников. Убежденный сторонник «светлой» палитры, он повторял Гогену, как прежде Сезанну, в жизни которого сыграл огромную роль, что писать надо только «тремя основными цветами»³⁵ и их непосредственными производными».

³⁵ Красным, желтым и синим.



Камиль Писсарро. Автопортрет.

И Гоген без колебаний пошел на выучку к Писсарро. Он приглашал Писсарро к себе, расспрашивал его, показывал ему свои наброски, прислушивался к его замечаниям и советам.

Метте была в восторге от этого нового знакомства. В самом деле, ее муж не часто «приглашал кого-нибудь в гости»³⁶. К тому же Писсарро прекрасно действовал на Гогена: в присутствии художника от угрюмости биржевика не оставалось и следа.

Вдобавок оказалось, что хотя семья Писсарро происходила из Португалии, сам он родился на Антильских островах, на принадлежащем Дании острове Сент-Томас, и таким образом был почти соотечественником Метте. И первым его учителем был датский художник

³⁶ Гоген Пола. Поль Гоген, мой отец.

Фриц Мельбюэ. Метте обрадовали все эти совпадения, и она сразу почувствовала себя с Писсарро накоротке.

Вместе с Фрицом Мельбюэ и совершил Писсарро в двадцать два года побег из родного дома, определивший его судьбу. Отец Писсарро, владевший на Сент-Томасе скобяной лавкой, несомненно, предназначал сына к коммерческой деятельности. Но юноша думал только о живописи. Еще ребенком Писсарро все время рисовал. Эта склонность углубилась в годы учения в парижском пансионе в Пасси, директор которого уговаривал Писсарро совершенствовать свое дарование. «Главное побольше рисуйте кокосовые пальмы», – советовал он молодому человеку, когда тому пришла пора возвращаться на Антильские острова. Писсарро служил в скобяной лавке отца, когда он познакомился с Мельбюэ, который предложил ему поехать с ним в Каракас, и – рассказывал Писсарро, – «я без раздумий бросил все». Три года спустя он снова поехал в Париж, на сей раз чтобы изучать там живопись... Хотя ни Гоген, ни Писсарро не задумывались над этим, сын скобяного торговца с острова Сент-Томас учил потомка семьи Тристан Москосо не одним только принципам импрессионистической живописи. Сам того не желая, он подал ему пример жизни, целиком и полностью отданной служению искусству. Искусство не терпит половинчатости. «Я бросил все» – эти три слова сыграли в жизни Гогена роль фермента.

Гоген иногда встречался с Писсарро в кафе «Новые Афины», куда, покинув кафе «Гербуа», перебравшись «банда Мане», пополнившаяся новыми членами. Многочисленные участники выставок импрессионистов, их друзья, критики, кое-кто из писателей приходили сюда поболтать в круглом зале, расположенном в глубине кафе и называвшемся «Сенакль».

Биржевик больше не посылал в Салон ни одной своей работы. Он примкнул к непокорным. Можно было заранее сказать, что когда придется выбирать между гонимыми, непризнаваемыми импрессионистами и академиками, милыми сердцу добряка Шуффа, Гоген изберет первых. Импрессионисты с их главой Мане – главой неблагодарным, потому что, мечтая об официальном успехе, он отрекался от своих последователей, хотя любил их и помогал им, представляли собой единственное жизнеспособное течение современной живописи. Слова Писсарро были для Гогена откровением, но к этому откровению его подготовило все – начиная от волнения, которое он впервые почувствовал перед картинами из коллекции Ароза, и кончая влиянием Коро, а потом Мане, которое он сознательно воспринял ³¹.



Поль Гоген. Автопортрет с Камилем Писсарро.

Однако Гоген по-разному оценивал произведения импрессионистов, которые составляли куда менее однородную группу, чем это рисовалось насмешникам-профанам. Игра света в небесах и на воде, пробивающегося сквозь дымку испарений или сквозь листву, его переливы, тени и отражения, которые с увлечением передавали Моне, Ренуар, Сислей (Моне в это время писал серию картин под стеклянным куполом вокзала Сен-Лазар, Ренуар только что окончил «Бал в Мулен де ла Галетт», Сислей – «Наводнение в Пор-Марли»), не слишком привлекали Гогена. Эти картины были слишком радужны и воздушны, чтобы всерьез тронуть его. Подобное искусство так же мало отвечало его созерцательной натуре, как некоторые излюбленные сюжеты импрессионистов все эти полотна, где нарядные краски запечатлевали веселье воскресных народных гуляний, пригородные ресторанчики, гребцов – мужчин и женщин, скользящих в лодках по Сене, переливающейся в солнечных лучах, сады с влюбленными парочками, где в гуще зелени расцветают великолепные цветы. Гогена куда больше привлекали сельские пейзажи Писсарро, написанные в тонах более сдержанных, глухих, менее блистательные, но передававшие значительность людей и явлений, связанных с землей. Биржевик, чьи предки в общем-то еще недавно крестьянствовали в Гатине – да и разве не от крестьян унаследовал Гоген свою тяжеловесную медлительность, свою привычку все обдумывать не торопясь? – биржевик в цилиндре ни разу так и не написал ни одну из миловидных парижанок, которые, прогуливаясь под зонтиком в платьях с турнюрками, пленяли взоры многих художников, собиравшихся в кафе «Новые Афины».

Впрочем, Гоген не сошелся близко ни с кем из группы импрессионистов, за исключением одного из подопечных Писсарро – Армана Гийомена, который был старше Гогена на семь с половиной лет. За плечами Гийомена был уже довольно долгий творческий путь – он участвовал в памятной выставке Салона Отверженных в 1863 году. Но путь этот был негладким. Гийомен тоже оставался художником-любителем, может, поэтому они с Гогеном почувствовали взаимное тяготение и им было легче сблизиться друг с другом.

Гийомен служил приказчиком в бельевом магазине, потом чиновником в канцелярии Управления железной дороги Париж – Орлеан. Потом бросил службу в безумной надежде прожить живописью. Это ему не удалось. И после двух лет лишений, отказавшись делить тяжкую

участь Писсарро (вместе с которым, чтобы заработать немного денег, он расписывал шторы), он вернулся на службу, стал чиновником муниципалитета.



Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт.

Писсарро, несмотря на свое бедственное положение, осуждал Гийомена за то, в чем видел едва ли не трусость. «Нельзя лавировать», – говорил он. Гийомен предпочел твердый заработок ненадежной стезе искусства. Но, избрав спокойную жизнь, он обрек себя на неизбежное недовольство собой. Гийомен страдал, что не может писать так, как хотел бы. И те проблемы, которые встали перед ним, не могли не возникнуть однажды перед ликвидатором, служившим у Галишона.

Гийомен присоединялся к Писсарро, когда тот навещал Гогенов.

Весной 1877 года биржевик перебрался с площади Сен-Жорж в более просторную квартиру, потому что Метте снова ждала ребенка. Беременность не очень радовала молодую женщину. «Ох уж эти дети – бог свидетель, я их не хотела!» – писала она позже в письме Шуффенекеру.

Гоген снял квартиру далеко от прежнего места жительства, на Левом берегу, в районе Вожирар – на улице Фурно, 74 (ныне улица Фальгьер). Здесь 24 декабря Метте родила ребенка – дочь, которой восхищенный Гоген поспешил дать имя своей матери – Алина... «Я видел тебя малюткой, очень спокойной, ты открыла свои красивые, очень светлые глаза – такой ты для меня и осталась навсегда».

Несколько недель спустя, 25 февраля 1878 года, в Отеле «Друо» была распродана коллекция Гюстава Ароза. Больше Гогену не придется любоваться семнадцатью картинами Делакруа, четырьмя Домье, семью Курбе, произведениями Коро и Йонкинда из коллекции своего опекуна. У него останется только воспоминание о часах, проведенных перед этими картинами, и каталог распродажи, с которым он никогда не расстанется.

Маленький угловой трехэтажный дом на улице Фурно одной стороной выходил в тупик Фремен – здесь в доме номер четыре жил посредственный скульптор Буйо. Примерно в это же время сюда переехал и другой скульптор – Обе³⁷. Это соседство, вероятно, объясняет, почему Гоген поселился в районе Вожирар, далеко от Биржи и делового квартала.

Но далекое расстояние не было помехой для Гогена. Участвуя уже на собственный страх и риск в спекуляциях, лихорадивших финансовый рынок, ликвидатор вел крупную игру, используя непрерывное повышение курса.

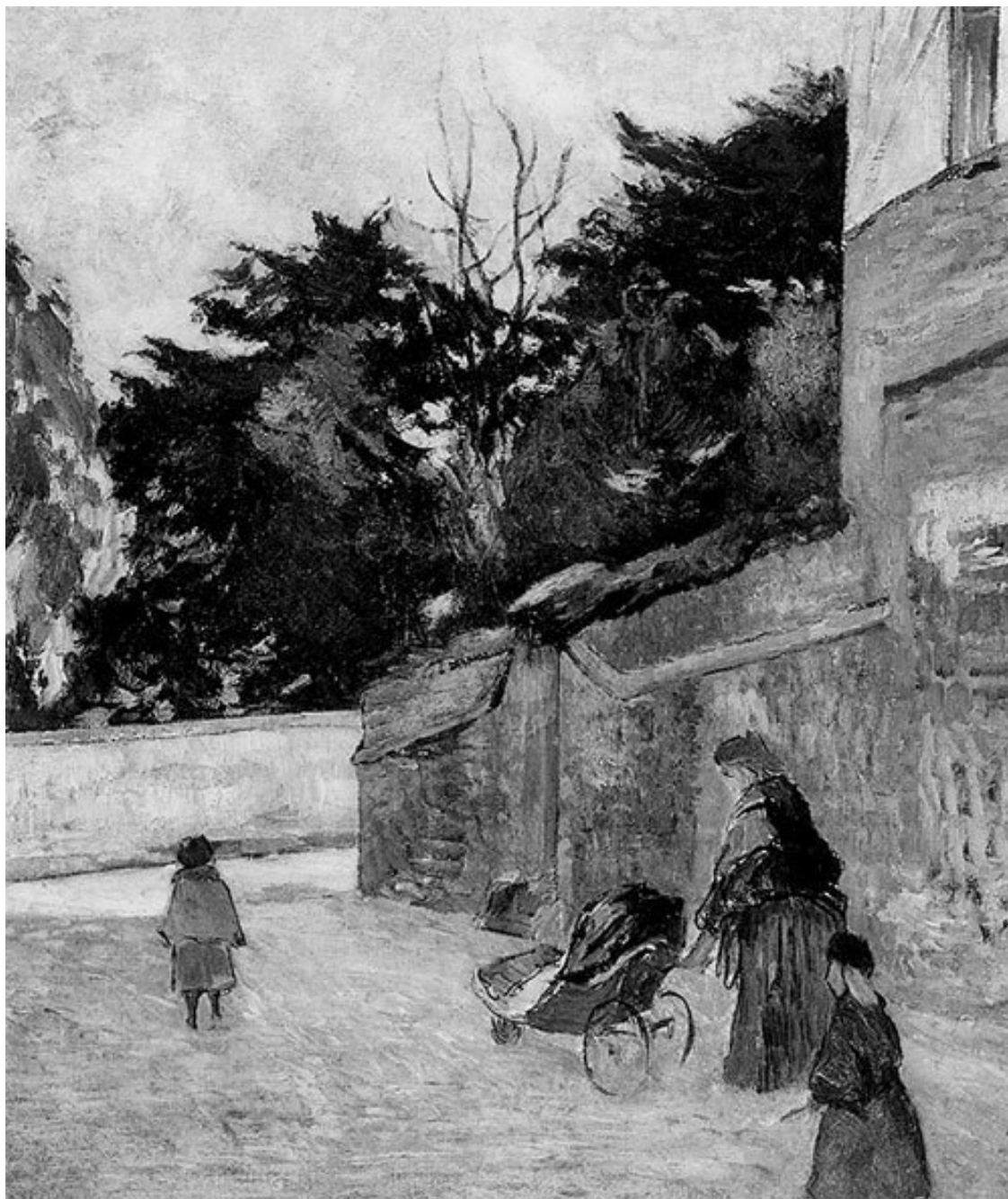
На биржу Гоген приезжал в двухместной карете, чем немало изумлял своих более скромных коллег, «карета ждала его до конца собрания»³⁸. В гардеробе Гогена было по меньшей мере четырнадцать различных панталон.

А биржа тем временем развивала все более активную деятельность. Канули в прошлое времена, когда она пугливо отзывалась на малейшие события в мире. Теперь политика не оказывала на нее никакого влияния. Подстегиваемая посредниками и агентами по продаже ценных бумаг, оживленная толпа каждый день увеличивала все новыми приказами и без того значительное количество сделок. На рынок выбрасывали все новые ценности. В 1878 году был создан банк «Всеобщий союз», задачей которого было «собрать воедино и преобразовать в могучее бродило капиталы, принадлежащие католикам». Создатели этого банка получили «особое личное благословение его святейшества папы»³⁹ и собрались противопоставить свой банк еврейским и протестантским банкам, которые в ту пору господствовали на рынке. Золотые грезы, мечты о гигантских состояниях проносились над толпой, которая наполняла невообразимым шумом большой зал биржи. Агенты кулисы хлопотали и суетились уже с десяти часов утра. Но и вечерами, с девяти до половины одиннадцатого, в холле банка «Лионский кредит» на Итальянском бульваре не умолкали их голоса.

³⁷ Тупик Фремен в настоящее время называется Сите Фальгьер. Впоследствии здесь жили многие художники: Модильяни, Сутин, Фужита...

³⁸ Воспоминания М. Миртиля, переданные его сыном мэтром Марселем Миртилем.

³⁹ Из учредительного проспекта банка «Всеобщий союз».



Поль Гоген. Дети художника.

«Покупайте, продавайте!...» Боны пуэрториканского казначейства, венгерские государственные земли, бразильские железные дороги переходят из рук в руки... Гоген играет, Гоген выигрывает, кладя в карман все более крупные суммы. Его доходы превзошли все, о чем когда-либо могла мечтать Метте-София Гад.

Безусловно, Метте искренне восхищалась своим мужем – человеком, «обладавшим почти безграничной верой в свои способности добывать деньги»⁴⁰ и эту веру полностью оправдывавшим, неутомимым тружеником, который, вместо того чтобы спокойно наслаждаться краткими часами досуга, никак не мог уговориться и еще продолжал мараф свой холсты, одолеваемый «живописной блажью». Казалось, ни его ум, ни его руки не способны оставаться праздными...

⁴⁰ Цитаты заимствованы из книги Пола Гоген «Поль Гоген, мой отец».

Руки Гогена – живые, всегда в движении, руки, точно им постоянно надо было что-то лепить, что-то создавать!

Да, Метте восхищалась этим человеком. По сути, если не считать маленькой слабости – он курил и не отказывался выпить коньяку, – у него не было недостатков. Метте досаждало лишь одно: сама она любила пошутить и посмеяться, а муж был такой серьезный, что в конце концов просто «зло брало», и вдобавок – он был нелюдим. Когда вечерами у Метте собирались друзья, Гоген, холодно обронив несколько вежливых слов, уходил к себе. Однажды случилось даже, что, удалившись к себе, он через несколько минут вернулся в ночной рубашке, и в таком виде как ни в чем не бывало прошел через всю комнату, чтобы взять нужную ему книгу, и только попросил дам «не обращать на него внимания». Не только коллеги-биржевики считали Гогена букой, упрекая его – одни в тщеславии, другие – в грубости. Почти все, кому приходилось сталкиваться с ним были о нем не лучшего мнения. А на самом деле Гоген просто оставался чуждым миру, который его окружал. Он походил на актера, который играет роль, не задумываясь над ней. Невосприимчивый к окружающему миру, он жил вне его, далеко-далеко, двигаясь, как сомнамбула, с пустым взглядом среди фантомов, созданных его воображением.

Биржевик попросил жену, чтобы она позировала ему в мастерской Буйо, который обучил Гогена технике моделирования и лепки. Гоген выполнил в глине бюст Метте, который Буйо перевел в мрамор. А потом и сам стал работать прямо в мраморе и высек бюст Эмиля.

В 1879 году Гоген почти украдкой принял участие в 4-й выставке импрессионистов, которая открылась 10 апреля на авеню де л'Опера, 28, выставив на ней статуэтку. Несомненно, Гогена приняли на эту выставку в последнюю минуту – его имя даже не значится в каталоге – и скорее всего, по настоянию Писсарро. Ему, наверное, нелегко было уговорить принять Гогена – кое-кто из импрессионистов относился к биржевику неприязненно...

Накануне закрытия выставки, 10 мая, жена Гогена родила третьего ребенка – мальчика⁴¹.

Гоген дал дочери имя своей матери – Алина. Этого сына он назвал именем своего отца – Кловис. Сентиментальные воспоминания. Бука Гоген был бы горько обижен, если бы 7 июня его близкие не поздравили его с днем рождения и не пожелали ему счастья.

Много лет подряд Писсарро ездил в окрестности Понтуаза, где в самом городе, на улице Эрмитаж, снимал дом. Летом 1879 года Гоген провел у Писсарро свой отпуск.

Писсарро по-прежнему бедствовал. Продавать картины ему почти не удавалось, хотя просил он за них смехотворно мало. Он тщетно тратил силы и время в поисках любителей. «Дела мои обстоят самым жалким образом, – писал он зимой этого года Теодору Дюре. – Скоро я состарюсь, зрение мое ослабнет, а я продвинусь не дальше, чем двадцать лет назад». Но это не мешало Писсарро по-прежнему осуждать Гийомена и утверждать, что, доведись ему начать сначала, он, не колеблясь бы, бросил все». Гоген, как видно, старался помочь Писсарро и приобрел несколько его картин. Писсарро в свою очередь внушал Гогену, что он, биржевой спекулянт, вообще должен делать ставку на неизбежный успех импрессионистов в будущем.

⁴¹ Это было 10 мая, а не 8 мая, как писали до сих пор (Записи актов рождений мэрии XIV округа).



Поль Гоген. Кловис Гоген спит. 1884 г.

В Понтуазе или поблизости от него, в Они, Гоген бок о бок со своим другом писал пейзажи. Поощрение Писсарро подбадривало его, укрепляло веру в свои силы, и Гоген решил на ближайшей выставке импрессионистов дебютировать уже всерьез, послав на нее несколько работ.

Эта пятая по счету выставка, продолжавшаяся с 1 по 30 апреля 1880 года, была устроена на антресолях дома номер 10 по улице Пирамид. Читая отпечатанные красным по зеленому фону афиши, в которых было объявлено об открытии выставки и перечислены имена участников, нельзя было не заметить отсутствия многих имен. И в самом деле, группу новаторов раздирали бесконечные распри. Некоторые художники, вроде Ренуара и Моне, покинув своих товарищей, намеревались выставиться в официальном Салоне. Надо полагать, что участие Гогена – он послал на выставку семь полотен и мраморный бюст – не способствовало укреплению взаимопонимания. И впрямь, несколько недель спустя Клод Моне заявил одному из сотрудников «Ви модерн»: «Я импрессионист, но теперь очень редко встречаюсь с моими собратьями по группе. Наш маленький храм стал банальной школой, открывающей свои двери первому встречному мазиле».

«Первый встречный мазила»! Если верно, что эти слова относились к Гогену – а такое мнение существовало, – то они были жестоки. Во всяком случае, работ биржевого маклера никто не заметил. Непримиимый противник Мане, критик газеты «Фигаро» Альбер Вольф – Гоген прозвал его «крокодилом», – не удостоил их даже намеком в своей статье о «скоплении бездарностей», какими, на его взгляд, являлись художники, выставившие свои работы

на улице Пирамид. Печальный итог! Но не заслужил ли его биржевой маклер? Будь у него больше досуга, чтобы писать, углублять свои поиски, дать жизнь тому, что шевелится в нем... Но биржа!

Гоген играл на бирже и выигрывал – выигрывал с неизменным успехом. Десять тысяч франков, двадцать пять тысяч, тридцать тысяч... За последние месяцы он к изумлению и восхищению Шуффенекера заработал сорок тысяч франков золотом⁴². Воспользовавшись этим, Гоген перебрался в новую квартиру (художник Жоббе-Дюваль, член парижского муниципалитета, сдал Гогену в районе Вожирар, на улице Карсель, 8 роскошный павильон, при котором была просторная мастерская, выходившая в громадный сад).

На гребне успеха биржевой маклер меньше чем когда-либо считался с расходами. Он беспечно засадил свой сад розами редких сортов и, уступив давнему желанию, увешал стены дома целой коллекцией картин: в несколько приемов он истратил на картины пятнадцать тысяч франков⁴³.

Метте пугала расточительность мужа, громадные суммы, выброшенные на холсты и рисунки. Впрочем, она вообще никогда не понимала и не поймет никогда, что есть на свете люди настолько безумные, что рвут друг у друга из рук за бешеные деньги прямоугольные куски холста, покрытые краской, когда на свете есть столько возможностей истратить деньги с пользой! Но Писсарро, советами которого руководствовался биржевой маклер, уверял, что это надежное помещение капитала, и Метте хотелось верить, что ее «земляк» прав. Да и потом, как она могла противодействовать Полю, который приносил в дом столько денег и приучил ее к роскоши – к роскоши, от которой бывшей гувернантке теперь будет очень трудно отказаться. Ведь Поль такой снисходительный муж!

Гоген накопил полотна Писсарро, Гийомена, Ренуара (ему повезло – он приобрел работу Ренуара за 30 франков), Моне, Сислея, Дега, Сезанна (среди последних – великолепный натюр-морт), Мэри Кэссет, Домье, Йонкинда, Леви-Брауна. У Дюран-Рюэля он купил также «Голландский пейзаж» Мане. Желая приобрести еще какое-нибудь произведение творца «Олимпии», Гоген обратился к самому художнику, и тот за пятьсот франков продал ему пастель «Фуфайка»⁴⁴.

Возможно, что именно тогда, увидев картину Гогена, Мане похвалил художника. «Очень хорошо! – сказал он, прищелкнув языком, что выражало у него восхищение.

– Что вы! – возразил Гоген. – Я всего лишь любитель!

– О, нет! – ответил Мане. – Любители – это те, кто пишут плохие картины».

«Мне было приятно это услышать», – скажет впоследствии Гоген⁴⁵.

А на бирже курс акций продолжал повышаться. Люди старались перехватить друг у друга новые облигации. Спекулянты, не колеблясь, заключали займы, чтобы заработать еще больше. Облигации «Всеобщего союза», в декабре 1879 года котировавшиеся по семьсот пятьдесят франков, в конце 1880 года стоили уже больше девятисот.

Гоген, с головой уходя в работу, писал и рисовал на улицах района Вожирар.

Дега, чтобы выразить свое уважение «любителю», купил у него картину.

⁴² Около 100 тысяч новых франков.

⁴³ Около 37 500 новых франков.

⁴⁴ Эта покупка упоминается в неизданной записной книжке Мане (Национальная библиотека, Кабинет эстампов).

⁴⁵ Это была не просто любезность. О том, что Мане интересовался Гогеном, подтверждает его друг Антонен Пруст (Воспоминания об Эдуарде Мане, с. 45).

* * *

В разгаре биржевой горячки «добряк Шуфф» сохранял трезвость ума. Воспитавшие его дядя и тетка умерли. Унаследовав от них небольшой капитал в двадцать пять тысяч франков, Шуфф решил не рисковать им в биржевой игре.

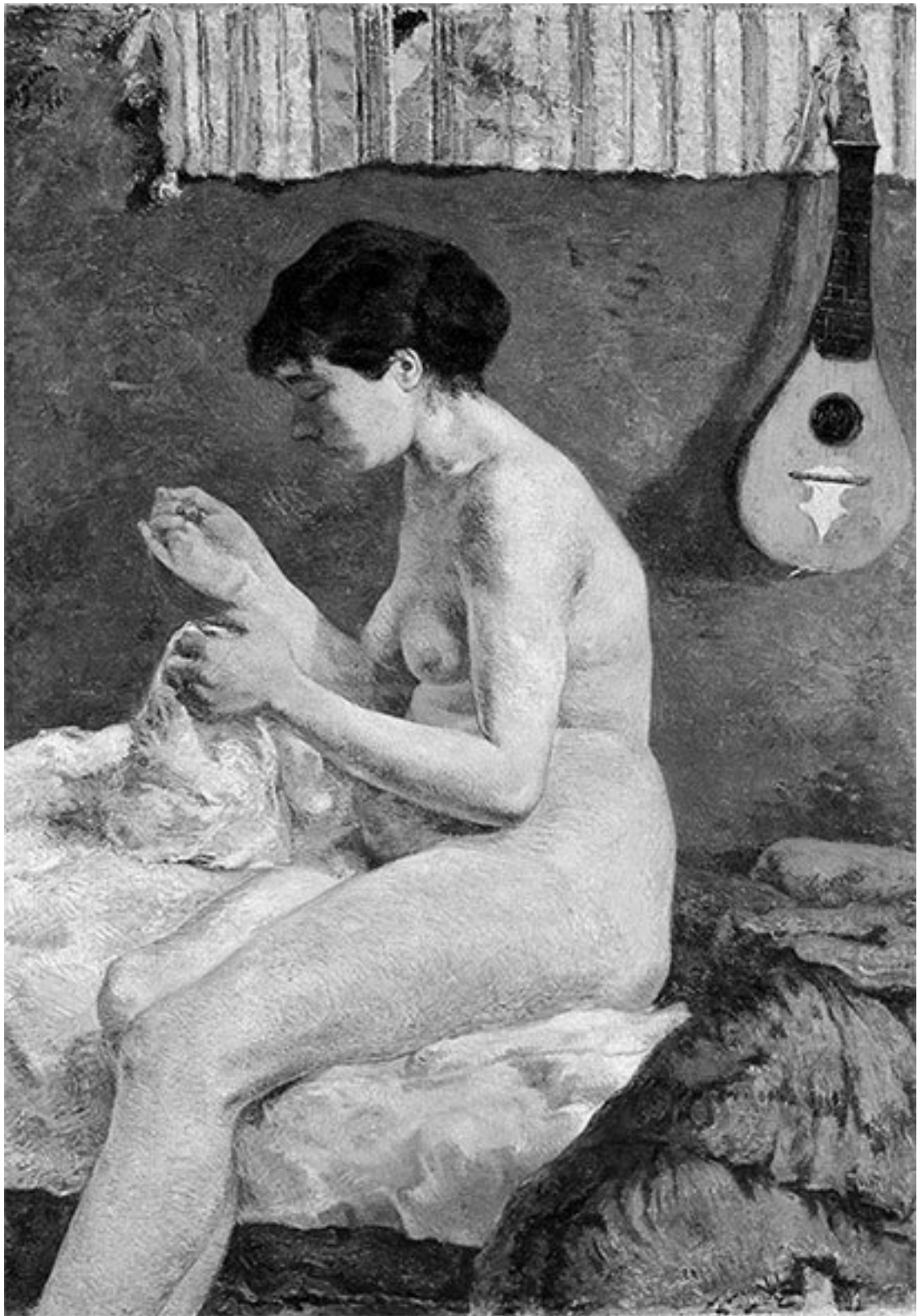
Во время осады 1870 года он познакомился на парижских бастионах с молодым человеком, который изобрел особый метод производства накладного золота, но у него не было средств, чтобы осуществить свое изобретение. Шуффенекер вошел с ним в долю. Это было надежное предприятие, компаньоны вели дело осторожно, счетоводство лежало на Шуффе – и оно стало медленно, но верно развиваться.

«Шуфф – буржуа!» – говорил Гоген.

Этот мягкий, робкий и разумный человек готовился совершить большую глупость. Его уговаривали жениться, и он склонялся к тому, чтобы дать согласие. Невеста, Луиза, его дальняя родственница, жила в монастыре. Внешне она была довольно привлекательна: миловидное двадцатилетнее личико, лукавый изгиб рта, вздернутый носик, очень красивые глаза. Тонкая талия, туго стянутая корсетом, подчеркивала маленькую упругую грудь. Но душевные и нравственные качества Луизы далеко уступали ее внешности. Луиза не отличалась умом, но зато была властной и раздражительной. Шуффенекер об этом знал. Но дядюшка Луизы, который был ее опекуном, настаивал, расхваливая свой товар: «Она с характером, это верно, но он обломается, вот увидишь! – уговаривал он добряка Шуффа. – И ни с кем она не станет такой хорошей, как с тобой». Луиза, однако, отнюдь не была в этом убеждена. Шуфф водил ее к своим друзьям, к художникам, и окружение жениха смущало Луизу, казалось ей слишком «интеллигентным». Как ни хотелось ей вырваться из монастыря, она поведала монахиням о своих сомнениях. «Да нет же, вы увидите, господин Шуффенекер научит вас, и вы сами станете ученой!» – убеждали ее монахини. Решительно все окружающие, кроме жениха и невесты, добивались этого брака: он состоялся в октябре 1880 года.

Добрейшая душа, Шуффенекер, который так неосторожно связал себя «на радость и на горе» браком, оказался куда более осмотрительным, когда дело коснулось живописи. Он противился Гогену, который пытался вырвать его из-под влияния академической живописи и связать с импрессионистами. «Вы глухи к убеждениям, Шуфф».

Но таким ли убежденным импрессионистом был сам Гоген? Что бы он сам ни думал в эту пору, его родство с импрессионистами оставалось чисто поверхностным – оно не затрагивало глубин его души. Воспроизводить реальный мир таким, каким его видит глаз, запечатлевать на холсте зрительное восприятие в его первозданном виде, посвятить себя передаче внешних явлений – того, что происходит вне художника, – разве мог признать это конечной целью искусства Гоген, для которого существовал внутренний мир, и только он один?



Поль Гоген. Обнаженная.

Гоген писал на улочках района Вожирар. Он написал церковь Сен-Ламбер, висившуюся на участке рядом с его домом⁴⁶. Написал свой сад и написал обнаженную женщину («Обнаженная») – позировала ему служанка Жюстина.

⁴⁶ Писали, будто в этой церкви с 1807 года покоились останки донна Мариано де Тристан Москосо. Трогательная, но, к

В этой обнаженной Гоген как нельзя более полно выразил то, что отличало его от импрессионистов. В самом деле, трудно найти что либо общее между этой женщиной, сидящей на краю дивана и склонившей безрадостное лицо над тканью, которую она штопает, и обнаженными женщинами Ренуара, с их цветущей и сверкающей плотью!

Кисть Ренуара ласкает поверхность кожи. Под кистью Гогена сквозь формы тела проступает душа. Ренуар и другие импрессионисты пишут зримое, Гоген, сознательно или нет, пытается писать то, что находится за пределами зримого, то, что это зримое в какой-то мере отражает.

Эта обнаженная⁴⁷ настолько выделялась на фоне других произведений самого Гогена и его товарищей, что на 6-й Выставке импрессионистов в апреле 1881 года в доме номер 35 по бульвару Капуцинок, где висела эта картина, она надолго приковала к себе внимание писателя-натуралиста Гюисманса.

«В прошлом году, – писал Гюисманс, – господин Гоген выставил... серию пейзажей – этакий разжиженный, неокрепший Писсарро.

В этом году г-н Гоген представил произведение воистину самостоятельное, полотно, которое свидетельствует о неоспоримом темпераменте современного художника. Картина называется «Этюд обнаженной натуры...». Осмелюсь утверждать, что ни у одного из современных художников, работавших над обнаженной натурой, с такой силой не звучала правда жизни... Эта плоть вопиет. Нет, это не та ровная, гладкая кожа, без пупырышек, пятнышек и пор, та кожа, которую все художники окунают в чан с розовой водицей и потом проглаживают горячим утюгом. Это красная от крови эпидерма, под которой трепещут нервные волокна. И вообще, сколько правды в каждой частице этого тела – в толстоватом животе, свисающем на ляжки, в морщинах под отвислой грудью, обведенной бистром, в узловатых коленных суставах, в костлявых запястьях!.. За долгие годы г-н Гоген первый попытался изобразить современную женщину... Ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную, правдивую картину».

После чего Гюисманс бегло упомянул семь остальных картин, деревянную «готически современную» статуэтку и медальон из крашеного гипса, которыми Гоген был представлен на выставке. «Но в пейзажах индивидуальность г-на Гогена пока еще с трудом вырывается из объятий его наставника г-на Писсарро», – писал Гюисманс с легким презрением⁴⁸.

сожалению, неточная подробность. Дон Мариано был погребен не в этой церкви Сен-Ламбер, которую построили только в 1853 году, а в первой церкви Сен-Ламбер, расположенной значительно южнее и снесенной в 1854 году. Погребенные в ней были эксгумированы и перенесены на кладбище Вожирар.

⁴⁷ В настоящее время картина находится в Новой Глиптотеке Карлсберга в Копенгагене.

⁴⁸ «Выставка независимых в 1881 году» в «Ар модерн». Шарпантье, Париж, 1883.



Жорис-Карл Гюисманс.

Похвалы Гюисманса избавили Гогена от сомнений: он художник, настоящий художник, а не любитель. Но эти похвалы должны были и смутить его. Гюисманс в общем-то хвалил его за реализм, а Гоген безусловно испытывал по отношению к реализму то же инстинктивное сомнение, что и по отношению к импрессионизму. По сути, импрессионизм был наследником реализма. И в том и в другом случае речь шла о том, чтобы изображать «видимые предметы»⁴⁹, правда, различными средствами. Гораздо позже, когда Гогену станет ясен смысл его собственных исканий и он поймет, к чему они ведут, он не случайно скажет об импрессионистах, что они вели свои поиски «вокруг видимого глазу, а не в таинственном центре мысли». Обнаженная, восхитившая Гюисманса, с ее тяжелым, непривлекательным телом, с ее выражением печали вовсе не была героиней натуралистического «среза жизни». Она была вестницей внутреннего мира Гогена, того неведомого мира, первым неожиданным проявлением которого и было это полотно.

Семья биржевика снова увеличилась. 12 апреля Метте произвела на свет четвертого ребенка, мальчика, Жана-Рене. У Метте было много хлопот с четырьмя детьми – Эмилем, которому было шесть с половиной лет, трехлетней Алиной, двухлетним Кловисом и новорожденным, и она еще меньше, чем прежде, интересовалась «живописной блажью» Поля, хотя и нелегко смирилась с тем, чтобы «одолжить» ему Жюстину: что за неприличная фантазия – заставить девушку позировать голой!

Шли месяцы, друзьям Метте Гоген казался все более чудаковатым. На бирже продолжался вихрь безумных спекуляций: акции Суэца, стоившие два года назад семьсот франков, теперь стоили три тысячи, акции «Всеобщего союза» с тысячи поднялись до тысячи двухсот, потом до тысячи трехсот, наконец до полутора тысяч... Гоген по-прежнему зарабатывал огромные деньги – ему бы радоваться, а он, наоборот, все мрачнел. Из него нельзя было вытянуть ни слова.

⁴⁹ Курбе.

Однажды Гоген с женой отправился в гости к свояку, Фрицу Таулову, где встретил другого норвежского художника, Скредсвига, которому в этом году жюри Салона присудило медаль третьей степени. Польщенный этой честью, Кристиан Скредсвиг, человек и вообще-то любезный и добродушный, восхищался Салоном 1881 года, говорил, что он был «великолепен», что там были выставлены замечательные полотна. «А как по-вашему, господин Гоген?» – любезно спросил он биржевого маклера. «Я видел в Салоне только одну картину – Мане⁵⁰» – ледяным тоном отрезал Гоген. Чуть позже Скредсвиг увидел, как Гоген, схватив канделябр, отправился в мастерскую Таулова посмотреть его работы и там расхаживал от одной к другой, пожимая плечами⁵¹. Странная личность этот молчун маклер!

И даже еще более странная, чем предполагал Скредсвиг! Этот человек нигде не чувствовал себя на своем месте, всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел. Чужим парижскому обществу с принятыми в нем обычаями и любезностями. Чужим даже своей эпохе, европейскому буржуазному и материалистическому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное, субъективное начало, власть мечты и чувства. Вот почему Гогену было не по себе и среди импрессионистов: если Золя, написавший за год до этого «Нана», стремился создать «экспериментальный» роман, то и импрессионисты не избежали общего поветрия. Именно стремясь к объективному наблюдению, они писали не предметы, а их видимость, и возражали против того, чтобы разум вклинивался между глазом и рукой, когда художник анализирует и передает на холсте мимолетную игру света.

Да, странная личность этот маклер, ищущий собственную душу, – всюду чужой, нигде не способный ужиться. С глубоким душевным волнением прочтет он однажды стихи, написанные никому не известным преподавателем английского языка, другом Мане, Стефаном Малларме:

Тоскует плоть, увы! К чему листать страницы?
Все книги прочтены! Я чувствую, как птицы
От счастья пьяны там, меж небом и водой.
Бежать, бежать! Ни сад, заросший лебедой
Пусть отражался он так часто в нежном взоре,
Не исцелит тоски души, вдохнувшей море.
О ночь! Ни лампы свет, в тиши передо мной
Ложащийся на лист, хранимый белизной,
Ни молодая мать, кормящая ребенка.
Уходим в плаванье! Мой стимер, свистни звонко
И в мир экзотики, в лазурь чужих морей,
Качая мачтами, неси меня скорей!⁵²

Гоген потому так страстно отдавался живописи, что видел в ней путь к освобождению. Еле сдерживая нетерпение, он начал роптать против повинностей, которые налагала на него его профессия. Часы, которые он отдавал бирже, это были часы смерти, а не жизни, безвозвратно потерянное время. Ах, если бы ремесло биржевика не обкрадывало его, отнимая у него время, если бы он мог писать изо дня в день, он узнал бы во всей его полноте счастье быть наконец самим собой. Только с кистью в руке Гоген чувствовал, что живет.

Гоген ходил на выставки, в галереи, в музеи, изучал, размышлял. Все давало ему пищу для раздумий – и колючее искусство Дега, столь далекое от импрессионизма во вкусе Клода

⁵⁰ «Портрет Петрюнзе, охотника на львов» – за него сорокадевятилетний Мане удостоился медали второй степени.

⁵¹ Пола Гоген, цит. произв.

⁵² Перевод В. Левика.

Моне, и стилизованное, рассудочное искусство Пюви де Шаванна, и гравюры великих японцев, и азиатская скульптура. Восток притягивал его. Вдохновляясь восточными мотивами, он работал над деревянной скульптурой. У папаши Мори, француза, когда-то жившего в Лиме, он увидел индейские украшения, керамические изделия инков. Короткий, щемящий всплеск тоски по далекой стране – на весенней выставке Гоген представил «Маленького юнгу». Искусство необъятна, как сама жизнь. Из поколения в поколение искусство оплодотворяют великие самцы человеческого стада: «королевский тигр» – Веласкес или Рембрандт, «грозный лев, который отваживался на все». Гоген, импрессионист, отнюдь не ортодоксальный в своих вкусах, восхищался Энгром и, подобно Дега, непрерывно возвращался к этому художнику, в котором чувствуется «внутренняя жизнь» и под «внешней холодностью... таится глубокий жар, кипучая страсть».



Эдуар Мане. Портрет Стефана Малларме.

В Салоне, который так расхваливал Скредсвиг, Гоген обменялся несколькими словами с Пюви де Шаванном, который выставил там своего «Бедного рыбака».

– Ну почему же они не понимают? – воскликнул Пюви, обращаясь к маклеру и намекая на какого-то злобствующего критика. – Ведь картина совершенно проста!

– А с этими людьми надо говорить загадками, потому что все равно они смотрят и не видят, слушают и не слышат! – отозвался Гоген.

Уж не притягивало ли Гогена в «Бедном рыбаке» именно то, что не нравилось некоторым критикам, в том числе Гюисмансу, упрекавшему Пюви в «наивной жестокости» и «нарочитой неумелости примитива»?..

Летом, как только пришло время его летнего отпуска, Гоген вернулся в Понтуаз, к Писсарро. С мая в Понтуазе жил также друг Писсарро Сезанн. За истекшие годы искусство Сезанна претерпело большие изменения. И для этого художника импрессионизм не был конечной целью. Его не удовлетворяли чисто зрительные ощущения. Они – только элемент, который

художник должен преобразовать, «осмыслить», чтобы «скомпановать». Гоген с таким интересом наблюдал за работой художника из Экса («Ну и художник этот чертов Сезанн! Все время играет на большом органе!»), что подозрительный провансалец стал беспокоиться: уж не собирается ли этот маклер, чего доброго, воспользоваться его восприятием, «стянуть у него мотивы». Недоверие это несколько смягчалось явным уважением маклера к живописи Сезанна – сам Сезанн, человек грубый и зачастую неприятный в обращении, нравился Гогену значительно меньше. Но вот удивился бы художник из Экса, если бы узнал, как воспринимает его Гоген. Сезанн, говорил Гоген, напоминает «древнего левантинца», от него веет каким-то восточным мистицизмом.

Недели отдыха пролетели быстро. Гоген нехотя вернулся на улицу Карсель. «Я слышал, как вы однажды высказывали одну теорию, – писал он в письме к Писсарро. – Заниматься живописью надо, мол, непременно в Париже, чтобы обмениваться мыслями. А что же происходит на деле? Мы, бедные, жаримся в «Новых Афинах», а вы, ни о чем не помышляя, живете себе отшельником... Надеюсь, что вы вернетесь в ближайшие дни».

А курс акций на бирже продолжал повышаться. Акции «Всеобщего союза» поднялись до тысячи семьсот, тысячи восьмисот, двух тысяч франков... Католический банк переживал эпоху расцвета. Его деятельность распространилась уже на всю Центральную Европу, в особенности на Австрию, где открылся его филиал – Земельный банк. Банк финансировал много других предприятий, в частности предоставил сербам заем в сто миллионов франков. Эти бесчисленные операции требовали непрерывного притока капиталов. В ноябре, чтобы увеличить свой капитал, банк выбросил на рынок новые ценные бумаги на сумму сто тысяч франков. Ходили слухи, что ради того, чтобы повысить их курс, Католический банк через подставных лиц приобрел большой пакет собственных акций.



Пюви де Шаванн. Бедный рыбак.

Покупайте, продавайте!.. Счастливы Писсарро и Сезанн! Они могут в любую минуту заниматься живописью, неуклонно, настойчиво продолжать свои поиски! А он, Гоген, должен то и дело от нее отрываться. Недовольный тем, что он пишет, мучительно преодолевая трудности, по многу раз переделывая картины, он с каждым днем все сильнее раздражался против своего биржевого ремесла. Живописью нельзя заниматься на досуге! Он устал, ему надоело разрываться между искусством и биржей, он вконец измучен. На исходе 1881 года он написал Писсарро, что не хочет оставаться художником-дилетантом и решил бросить финансовую деятельность. К тому же, добавлял он, дела идут неважно. Может быть, Гоген проиграл на бирже.

Гоген подолгу молчал, потом вдруг внезапно изливал свои душевные чувства. Он доверил свои планы Шуффенекеру. «Да, но семью-то кормить надо!» – возражал ему Шуфф. Гоген покачивал головой. Он только что продал свою картину проезжему датскому комиссариату, который «намерен отстаивать импрессионизм перед своими соотечественниками». Гоген быстро добьется успеха в живописи, как добился успеха на бирже. Разве он не доказал, что он человек практический?

– Шуфф – буржуа, – говорил Гоген.

И бледная мимолетная улыбка освещала его резко очерченное лицо с горькой складкой губ и тяжелыми зеленоватыми веками, из-под которых искоса смотрели глаза, подернутые дымкой грез...



Поль Гоген. Сад Писсарро. 1881 г.

III. Датское Королевство

Он пошел за нею, как вол идет на убой...
Книга Притч. VII, 22

Никогда еще в группе импрессионистов не было такого разлада. Тем из них, кто, как Писсарро и Гюстав Кайботт, пытался весной 1882 года организовать новую, 7-ю Выставку импрессионистов, пришлось убедиться, что злая воля, упрямство, непримиримость и обидчивость быстро разобщили людей, которых недолгое время объединяли общие интересы, общие идеи или общие антипатии.

«Дега внес раскол в наши ряды», – говорил Кайботт. Отчасти он был прав: Дега пытался навязать импрессионистам художников, которым он покровительствовал (как, например, Раффаэлли), но которых другие члены группы терпели скрепя сердце. Однако Дега был не единственной причиной несогласия. Ренуар и Моне стали выступать особняком. Сезанн («Я достоин одиночества!») с 1877 года не участвовал в выставках импрессионистов.

В декабре художники пытались договориться с Дега. Напрасный труд. 13 декабря Дега встретил Гогена и раздраженно заявил ему, что «скорее уйдет сам, чем позволит устранить Раффаэлли». За это время вера Гогена в собственные силы окрепла, сообщая об этой встрече Писсарро, он решительно заявлял:

«Хладнокровно обдумывая положение, сложившееся за те десять лет, что вы пытаетесь устраивать эти выставки, я вижу, что импрессионистов стало больше, а их талант, как и их влияние, возрос. Но зато из-за Дега, и только по его воле, наметилась и усиливается дурная тенденция: каждый год один из импрессионистов уходит, чтобы уступить место какому-нибудь ничтожеству или ученику Школы. Еще года два, и вы останетесь один среди худшего сорта ловкачей. Все ваши усилия потерпят крах, а с ними и Дюран-Рюэль. При всем моем желании, – добавлял Гоген, – я не могу служить посмешищем для господина Раффаэлли и иже с ним. Поэтому благоволите принять мою отставку. Отныне я ни в чем не участвую... Гийомен, кажется, настроен так же, как и я, но я не собираюсь оказывать на него давление».

Пришлось Писсарро, несмотря на все его уважение к Дега («Это ужасный человек, но искренний и честный»), признать, что Гоген прав. Раз Дега не хочет отказаться от своих обременительных «учеников», придется обойтись без него. «Вы скажете, что я слишком нетерпелив и всегда порю горячку, – писал Гоген в очередном письме к Писсарро, – но согласитесь, что мои расчеты оказались верными. Никто не разуверит меня, что для Дега Раффаэлли лишь предлог для разрыва. В этом человеке живет дух противоречия, который все разрушает. Не забывайте об этом, и прошу вас, будем действовать».



Эдгар Дега. Автопортрет.



Жан-Франсуа Рафаэлли. Портрет Эдмона де Гонкура.

Это письмо датировано 18 января. Можно ли поверить, читая его, что Гоген – тот самый Гоген, который «разыгрывает диктатора», как писал Мане Берте Моризо после разговора с Писсарро, – непосредственно затронут важными событиями, разыгравшимися на бирже? 11 января в результате краха Лионского банка и Луары повышение курса акций внезапно застопорилось. А 18 января, в тот самый день, когда Гоген написал свое письмо Писсарро, акции «Всеобщего союза», которые еще совсем недавно котировались дороже трех тысяч франков, упали до тысячи трехсот.

Пока Гоген обсуждал проблемы, связанные с будущей выставкой импрессионистов, биржа переживала все более драматические часы. «Вчерашний день был неудачен для Фран-

ции, – читаем мы в «Фигаро» от 20 января. – И дело не только в том, что разорены биржевые спекулянты, что подорваны многие репутации... На сей раз речь идет об общественном кредите, надо защищать национальное достояние от безумия распродажи, от паники, охватившей рынок».

28 января акции «Всеобщего союза» упали до шестисот франков. Два дня спустя банк официально приостановил платежи. 1 февраля его директор Федер и президент Административного совета Бонту были арестованы. На другой день коммерческий суд официально объявил о банкротстве банка.

Отзвуки этого краха разнеслись очень далеко. В маленьких деревушках и в больших городах он затронул тысячи мелких вкладчиков – рабочих, слуг, торговцев, крестьян, батраков, служащих, которые, внимая уговорам своих хозяев, богатых местных землевладельцев или агентов «Всеобщего союза», доверили свои сбережения Католическому банку. В Париже перед закрытыми дверями банка толпились длинные очереди – вопреки здравому смыслу хмурые, взволнованные люди надеялись, что банк возвратит им их вклады.

Гоген должен был потерять на этом деле много денег. Но, несомненно, это его беспокоило куда меньше, чем выставка импрессионистов. Так или иначе, отныне возможность биржевых спекуляций была сведена к нулю. Крах вызвал такое потрясение, отголоски его были столь ощутимы, даже за границей в Лондоне, Брюсселе, Амстердаме и Вене, что было совершенно ясно – оживление в делах теперь настанет не скоро. Восторженное возбуждение сменилось страхом. Большой зал биржи почти совсем опустел. Теперь собрания протекали в угрюмой, гнетущей тишине. Какой зловещий контраст с шумом, царившим здесь в минувшие недели! Однако крах дал Гогену возможность вволю размышлять о живописи.

А Кайботт продолжал добиваться своего. Он запросил Моне и Ренуара, согласятся ли они участвовать в задуманной выставке. Моне ответил уклончиво. Ренуар, заболевший в Эстаке, где он жил вместе с Сезанном, также не дал прямого ответа.

Выставка, наверное, никогда бы не состоялась, если бы Дюран-Рюэль, который все эти годы покупал полотна импрессионистов и защищал членов группы, не решился убедить колеблющихся. Он объяснил им, что выставка в их общих интересах, потому что крах Всеобщего союза затронет и его, Дюран-Рюэля, а через него и художников, его подопечных. Дюран-Рюэль был ярым католиком, и Федер, директор Генерального союза, его кредитовал.

Преппирательства продолжались почти целый месяц. Ренуар и Моне виляли. Последний не скрывал, как мало его привлекает участие в выставке рядом с господами Гогеном и Гийоменом. А первый ставил в вину Писсарро его политические убеждения. «Выставляться вместе с Писсарро, Гогеном, Гийоменом, – писал он не без раздражения Дюран-Рюэлю, – это все равно, как если бы я выставился с какой-нибудь социалистической группировкой. Еще немного, и Писсарро пригласит участвовать в выставке русского Лаврова (Лавров был анархистом. – А. П.) или еще какого-нибудь революционера. Публика не любит того, что пахнет политикой, а я в мои годы не желаю становиться революционером... А оставаться с евреем Писсарро – это и есть революция».

Наконец, после многотрудных усилий и объемистой переписки Дюран-Рюэлю удалось добиться примирения. Моне и Ренуар уступили. 1 марта выставка открылась на улице Сент-Оноре, 251. Гоген представил на нее двенадцать живописных работ и пастелей и один бюст.

Трудно представить, чтобы до Гогена не дошли отголоски недоброжелательных отзывов о нем Ренуара и Моне, и вряд ли они доставили ему удовольствие. Впрочем, очень многие сошлись на том, что в этом году он был представлен на выставке «весьма посредственными»⁵³ произведениями. Но хуже всего было то, что Гюисманс, так горячо расхваливший его, теперь воздержался от похвал по его адресу.

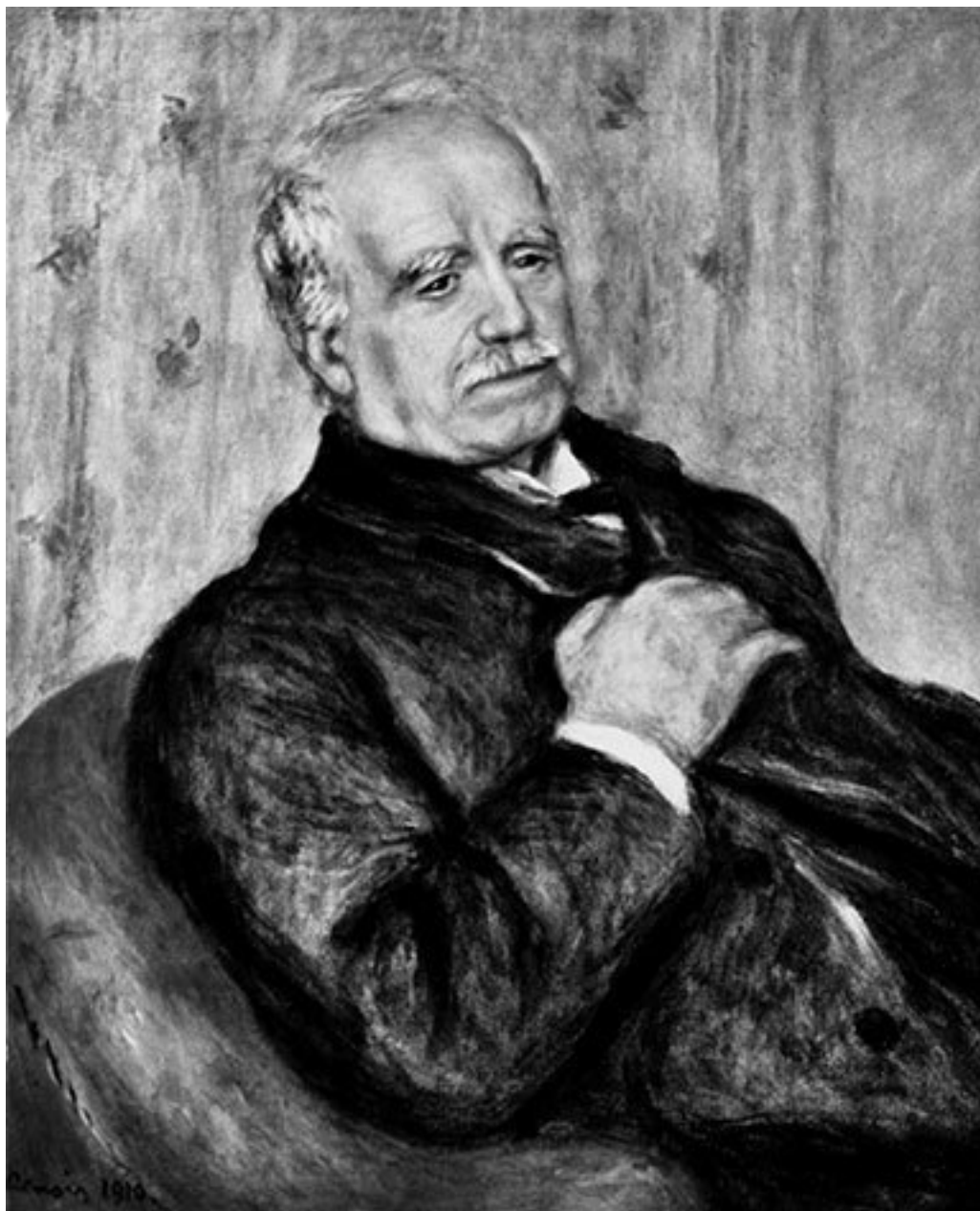
⁵³ Такое мнение высказано в письме Эжена Мане к его жене Берте Моризо.

«Увы, – писал он, – г-н Гоген не сделал успехов! В прошлом году этот художник показал нам отличный этюд обнаженной натуры, в этом году – ничего стоящего. Упомяну разве что удавшийся более, чем все остальное, новый «Вид церкви в Вожираре». Что же касается картины «В мастерской художника», то колорит ее грязный и глухой...»

Выступление Гюисманса привело Гогена в ярость. «Грязный колорит»! Он не мог примириться с этой оценкой. Слишком прямолинейный, чтобы выбирать слова и действовать с оглядкой, он тотчас заявил, что Гюисманс ничего не понимает. Все критики стоят друг друга! Имя Альберу Вольфу – легион. И подумать только, что в продаже картин художники зависят от этих недоумков!

Теперь Гоген видел мир только сквозь призму живописи. Тяга к ней разрасталась в нем, как раковая опухоль. Другой на его месте «с отчаянием», «в смятении» (именно такими выражениями пестрела газетная хроника) следил бы за роковым развитием событий на финансовом рынке, как его коллеги и все завсегдатаи биржи. Но он даже не подумал сократить свои расходы (а Метте тем более). То, что отныне операции на бирже заглохли, что его заработки резко уменьшились, не отвращало Гогена от его мечты, наоборот, она завладевала им все сильнее. «Грязный и глухой колорит»! Чего ради тратить время на биржу, если этот рабский труд даже не оплачивается как следует? И Гоген внезапно решает, что все встанет на свои места, если он избавится от биржевой повинности.

Финансовый кризис тяжело отозвался на торговле картинами. В частности, положение Дюран-Рюэля, на которого Гоген возлагал большие надежды, стало очень шатким. Долги торговца, по которому сильно ударило банкротство «Всеобщего союза», измерялись сотнями тысяч франков. «Он продержится не больше недели», – говорили о нем его собратья. И художники, которых он поддерживал, снова почувствовали мучительную тревогу о завтрашнем дне. Но все это не останавливало Гогена. Он жил не в реальном мире, а в мире своих грез. Став профессиональным художником, убеждал он себя, он будет писать, сколько захочет, будет продавать картины и будет счастлив. Он подгонял действительность к своим мечтам. Его надежды были химеричны, но его грезы не могли существовать без надежды, а он – без своих грез.



Огюст Ренуар. Портрет Дюран-Рюэля.

Гоген шел к далекому горизонту, пристально вглядываясь в миражи.

* * *

Жизнь Гогена достигла критической точки.

В конце 1882 года Шуффенекер – его маленькое предприятие по производству накладного золота процветало – решил уйти от Галишона и заняться другим ремеслом, более соответствующим его вкусам и менее рискованным. Биржевой крах, несомненно, его напугал. Но хотя с 1877 года Шуффенекер регулярно выставлялся в официальном Салоне, он был слишком осторожен, чтобы по примеру Гогена очертя голову подвергнуть себя превратностям карьеры художника. Он рассчитывал всего-навсего получить должность учителя рисования при муниципальных школах Парижа. Ближайший конкурс на эту должность должен был состояться в июле.

Уход Шуффа был как бы последним толчком для «пресытившегося биржей»⁵⁴ Гогена.

Однажды январским вечером 1883 года, вернувшись домой, на улицу Карсель, Гоген рассказал жене, что он объявил Галишону и Кальзадо о своем уходе. Метте онемела. «Я уволился от них, – невозмутимо повторил Гоген. – Отныне я каждый день буду заниматься живописью».

Метте глядела на мужа совершенно потрясенная. Что говорит Поль? Не лишился ли он рассудка?

Метте глядела на мужа, с которым прожила бок о бок почти десять лет и которого совсем не знала.

Метте пыталась успокоить себя. Она не могла допустить, что решение Поля бесповоротно – это было бы настолько страшно, что она отвергала такое предположение. Она считала, что Поль просто переживает одну из тех минут, когда человек из-за усталости, нервного истощения или приступа внезапно открывшейся душевной болезни на какое-то время перестает быть самим собой и делает глупости. А потом все входит в обычную колею. Как правило, причиной таких потрясений бывают женщины. Женщина – главный враг женщины. Но живопись! Метте не могла поверить в такую нелепость. Тщетно билась она над загадкой этой необычной страсти, перед которой чувствовала себя безоружной. Поль, расчетливый биржевой маклер, за десять лет добившийся самого завидного положения, образумится. Метте не могла допустить, что в биржевике, за которого она вышла замуж, в дельце, который приносил столько денег в дом, кроется безумец. Рассчитывать на продажу картин в период, когда импрессионисты, почти совсем лишившиеся помощи Дюран-Рюэля, снова должны, по выражению Писсарро, «готовить нищенскую суму», в самом деле было чистейшим безумием, и Писсарро, хотя он и укорял Гийомена за то, что тот снова поступил на службу, первый это признавал. Правда, в Гогене Писсарро терял возможного покупателя. И так ли уж он верил в его талант, в будущность своего друга? Не был ли биржевой маклер в его глазах чем-то вроде второго Кайботта – богатого художника-любителя, к которому импрессионисты в трудную минуту всегда могли обратиться за помощью?

⁵⁴ Шуффенекер. Заметки о Гогене.



Поль Гоген. Мадам Гоген в вечернем платье.

Гоген и сам вскоре убедился, что все обстоит далеко не так просто, как ему казалось. Ему ничего не удавалось продать. А сбережения, на которые он думал просуществовать по меньшей мере год, таяли куда быстрее, чем он рассчитывал. Он мог вернуться к Галишону. Кальзадо заявил, что в любую минуту возьмет его обратно, но Гоген не собирался отказываться от обретенного права свободно заниматься живописью. Отказываться от своего безумия! Оно было слишком нерасторжимо связано с чем-то самым для него заветным, чтобы он мог уступить. Мысль о том, чтобы сдать, вернуться в будничную колею, приводила его в ужас. Однако перед лицом участи, которую он избрал, его одолевала тревога. В эти дни 1883 года Гоген написал свой автопортрет за мольбертом. Холст этот – красноречивая исповедь: лицо у Гогена мрачное, смятенное, взгляд ускользающий – неизвестность со всех сторон обступила этого

человека, и он ее страшится. Как сладка была уверенность в завтрашнем дне! Как сладка и как ненавистна! «Да, я таков, иначе я поступить не могу».

Никогда еще Гоген не был так одинок, как в эти месяцы. Помощи ждать было не от кого. Не считать же помощью бесплодные советы тех, кто, подобно Метте, превратно судя о нем, уговаривал его вернуться к прежней работе, снова стать тем, кем он никогда не был. Незаурядность всегда влечет за собой одиночество – поступок, который совершил Гоген и который все окружающие осуждали, должен был бы открыть ему глаза на эту истину. Но Гоген, несомненно, был далек от того, чтобы уяснить эту грустную мысль.

Гоген пытался найти какой-то компромисс – способ заработать деньги, не теряя приобретенной свободы. Он поступил в страховое агентство к мэтру Альфреду Томро, на улице Амбуаз, 1⁵⁵. Но там он оставался недолго. Ведь, по сути, он искал работу если не художественную, то хотя бы близкую к искусству. В июне, побывав вместе с Шуффенекером в Салоне, он пришел в восторг от замечательной коллекции выставленных там настенных ковров. Его воображение тотчас стало нашептывать ему, какие широкие возможности открываются на этом поприще для импрессионистов. Это был первый из множества бесчисленных проектов, задуманных Гогеном под давлением обстоятельств. «Верю, потому что хочу верить». Его чуждый реальности ум все время создавал иллюзии – они были для него не просто необходимостью, а чем-то большим: он защищался ими от щемящего душу страха.

С прошлой зимы Писсарро покинул Понтуаз и перебрался в расположенную поблизости деревню Они. Гоген, в начале года уже навещавший его в этой деревушке, 15 июня вновь приехал туда на три недели. Находясь там, Гоген поспешил поделиться с другом мыслью об импрессионистских коврах. Писсарро очень понравилась идея Гогена, он даже пообещал ему сам сделать наброски для ковров. Но проект так и остался проектом.

Писсарро, находившийся в ту пору «в глубоком душевном упадке»⁵⁶, несомненно, предупреждал Гогена о том, какие трудности его ждут. Гоген не должен надеяться на Дюран-Рюэля, дела которого идут все хуже. Торговец не захотел взять на себя организацию очередной выставки импрессионистов, хотя его просил об этом сам Моне. Персональные выставки, которые он устроил поочередно – в марте Моне, в апреле Ренуару, в мае Писсарро и в июне Сислею, – не дали практических результатов. «Моя выставка совсем не принесла денег, – жаловался Писсарро. – А с выставкой Сислея и того хуже – ни гроша, ни гроша!»

Как видно, между Гогеном и Писсарро уже не было прежнего согласия. Писсарро все меньше понимал Гогена. В том, что Гоген так спешил продать картины, извлечь из них деньги, он видел склонность к торгашеству. Происшедшие события не раскрыли ему глаза на рассудительного биржевика. Он не понимал, что Гогену не терпится, потому что он лихорадочно жаждет успокоить себя – доказать себе, что он поступил правильно. «Он тоже отъявленный торгаш, во всяком случае, в своих замыслах, – писал вскоре Писсарро. – Я не решаюсь сказать ему, как это неправильно и как мало приносит пользы. У него большие потребности, семья привыкла к роскоши, все это верно, но это причинит ему большой вред.

Я вовсе не считаю, что не надо стремиться продавать, но, на мой взгляд, думать только об этом – значит тратить время попусту. Начинаешь терять из виду искусство и переоцениваешь себя».

В эту пору в Гогене уже прорисовывается новая личность. Мало того что ему нужны иллюзии, чтобы мужественно переносить положение, в котором он очутился после шага, совершенного в январе. Его поступок имеет смысл только если он «великий Гоген». И человек, который изобразил себя за мольбертом во всей неподдельности своего страха, расправляет плечи,

⁵⁵ Сведения о деятельности Гогена в этой фирме у нас самые скудные. По-видимому, он пытался оформлять какие-то полисы. Во всяком случае, он застраховал или продлил страховку Писсарро.

⁵⁶ Письмо Писсарро к Моне от 12 июня 1883 г.

выпрямляется, деревенеет в показной позе – и эта поза тоже самозащита против тоскливого страха, головокружительной бездны будущего.

Уж не Писсарро ли познакомил в эту пору Гогена – не с покупателями импрессионистических полотен, а с испанскими революционерами, группировавшимися в Париже вокруг главы республиканской партии, бывшего премьер-министра Руиса Сорильи? Внук Флоры Тристан взялся исполнить для них опасное поручение (ему, вероятно, обещали щедро заплатить – жена Сорильи была очень богата), которое, как видно, пришлось ему по душе. Шуфф наверняка не рискнул бы взяться за такое дело. В начале августа, когда восставший гарнизон Бадахоса в Эстремадуре провозгласил Республику, Гоген переправил Сорилью через франко-испанскую границу и, так как восстание было сразу же подавлено, «привез его обратно во Францию на возу с сеном»⁵⁷.

Жаль, что революционеры проиграли! Благодарная Испанская Республика, думал Гоген, предоставила бы ему синекуру, о которой он мечтает.

Гоген бродил по Парижу... Жена, говорил он, «с трудом привыкает к бедности». Несколько раз он пытался устроиться на работу, но тщетно. Так же бесплодно он пытался найти покупателя для своих картин. А в семье вскоре должен был прибавиться лишний рот – в марте Метте забеременела. Озабоченный, желчный, не зная что предпринять, Гоген расхаживал по Парижу.

Однажды в октябре у Дюран-Рюэля он узнал, что Писсарро работает в Руане – пишет превосходные картины. На хмуром осеннем небе вдруг сразу забрезжил просвет.

Жизнь в провинции куда дешевле, чем в Париже, решил Гоген. Обосновавшись с семьей в Руане, ну, скажем, на год, он сэкономит много денег и весь этот год будет усердно заниматься живописью, чтобы «завоевать место в искусстве». Руан даст ему новые мотивы. Да и вообще, так или иначе, ему там будет гораздо лучше, чем в этом напыщенном Париже, который в глубине души он никогда не любил и который никогда его не вдохновлял. На ближайшей же выставке импрессионистов – она предполагалась весной 1884 года – все увидят, каких успехов добился Гоген. К тому же Руан процветающий город. У руанцев «денег куры не клюют»! Наверняка там нетрудно продать картины. Кстати, бывший кондитер Мюрер, школьный товарищ Гийомена и друг импрессионистов, купил в Руане «Отель Дофина и Испании». Писсарро остался в этом отеле, и Мюрер взял с него плату со скидкой... Неожиданно в конце октября Гоген объявил Писсарро, что собирается в Руан, чтобы «на месте изучить обстановку с точки зрения практической жизни и искусства».

«Гоген не на шутку меня тревожит!» – признавался Писсарро. Едва Гоген появился в Руане, Писсарро понял, что бывший маклер всерьез намерен здесь обосноваться, что он «преисполнен твердой решимости». Писсарро не старался ободрить Гогена. Выставка импрессионистов, на которую рассчитывает Гоген, не состоится. Эта затея обречена. Гоген надеется заинтересовать богатых руанцев живописью импрессионистов? Но импрессионистам нигде ничего не удастся продать. Если бы не помощь Кайботта, Писсарро провел бы лето в нужде... «Я не верю, – говорил Писсарро, – что в Руане можно продать картины... Не забудьте, даже в Париже нас считают отщепенцами, подонками. Нет, искусство, которое потрясает старые устои, не может заслужить одобрения, и тем более в Руане, родном городе Флобера, в чем руанцы не смеют признаться»⁵⁸. Но какой смысл спорить с бывшим маклером? «Дело сделано, он решил взять Руан приступом», – писал Писсарро 10 ноября.

Гоген стал искать кров для своей семьи. В тупике Малерн сдавался дом № 5. Гоген снял его и вернулся в Париж, чтобы подготовить переезд.

⁵⁷ Шуффенекер. Заметки о Гогене.

⁵⁸ Из письма Писсарро Мюреру от 8 августа 1884 г.

6 декабря Метте родила пятого ребенка, мальчика Поля-Роллона. В заснеженном саду на улице Карсель Гоген написал одну из своих последних парижских картин. Картину, исполненную зимней грусти. Картину, пронизанную одиночеством.

* * *

В начале января 1884 года семейство Гогенов приехало в Руан.

Покинуть улицу Карсель было для Метте жестоким ударом. В необходимости переезда как бы материализовались страхи, от которых ей становилось все труднее отгораживаться, поскольку она видела, с каким упорством преследует Гоген свои химерические мечты. Впрочем, и того, как отнеслись к происшедшему Писсарро и Гийомен, было довольно, чтобы укрепить ее тревоги. Но до переезда она все еще сомневалась. Теперь сомневаться не приходилось. Все в ней восставало против краха того, что составляло ее жизнь. Вознесенная своим замужеством до такого социального положения, о котором она, несмотря на все свое честолюбие, не могла мечтать, она теперь была озлоблена, что ее лишили достигнутого.

Конечно, немногие женщины на ее месте не устрашили бы будущего. И суть не в том, предстояло ли Гогену добиться в будущем признания своего таланта или ему суждено было остаться неудачником. Все равно – выбор жизненного пути, сделанный главой семьи, с точки зрения социальной был пагубным. И однако многие женщины в подобных обстоятельствах не перестали бы поддерживать своих мужей. Хрупкая женская рука была иной раз самой надежной опорой для дерзновенных искателей в области духа. Любовь – это всегда понимание, а женщина в любви часто идентифицирует себя с любимым человеком. Но если Гоген представлял собой в своем роде крайний случай как бы идеальное воплощение мощи мужского воображения, неутомимой способности мужчины, вечного мечтателя, оплодотворять мысль и форму, то и Метте противостояла ему как крайность другого рода. Метте даже не пыталась понять причину неожиданного превращения, в результате которого вместо биржевого маклера, за которого она вышла замуж, перед ней оказался совершенно непостижимый человек. Этот человек ничуть ее не интересовал. Она никогда не стремилась приобщиться к духовной жизни мужа. Да и любила ли она его по-настоящему? «Ее» Поль был ее собственностью. Это был человек, который дал ей возможность создать семью и от которого она ждала покровительства. Метте принадлежала к той породе женщин, для которых на свете существует только их женская жизнь и которые со слепым животным эгоизмом рвутся к своей цели; мужчина для них всего лишь – производитель или «дойная корова». Гоген в отчаянии однажды упрекнул жену именно в том, что она видит в нем «дойную корову», а это самый жестокий упрек, какой мужчина может бросить в лицо женщине.

Трагическая взаимная слепота! Ни Метте, ни Гоген никогда не подозревали, что они морочили друг друга. Живя вместе, они друг друга не видели. Их призрачное согласие могло бы тянуться долго, как тянется согласие многих других пар, подобранных так же случайно игрой чувственности или расчета, которым истина так и не открывается никогда. Но хрупкость уз, соединявших Гогена и Метте, недоразумение, на котором зиждилось их видимое согласие, обнаружились во всей своей зловещей очевидности за недели, прожитые в Руане. Потеря бывшего благополучия не столько даже пугала, сколько унижала Метте. Она была уязвлена в своем тщеславии. Как разрывалось, должно быть, ее сердце, когда она бросила прощальный взгляд на красивый павильон на улице Карсель, который в своей наивной гордости она именвала «особнячок Жоббе-Дюваль». Холодными серыми глазами смотрела она на человека, который ее предал. Она никогда не простит Гогену, что он отнял у нее то, что сначала дал. Никогда не простит живописи крушение своей жизни.

«Мерзкая живопись!» – ты часто оскорбляла ее этими словами». Уязвленная Метте даже не пыталась бороться с трудностями. Она не хотела и не старалась сократить расходы, словно

отсутствие денег должно было принудить Гогена снова начать зарабатывать. Сбережения Гогенов быстро таяли.

Гоген приходил в отчаяние от настроения Метте. Он был бы рад обеспечить ей прежние условия жизни – но как? Писсарро оказался прав – руанцы не покупали живописи импрессионистов. Бедная Метте! Он оправдывал ее разочарование, ее резкости, даже выпады против французов, «странного народа», которых она теперь презирала, как она заявляла в гневе.

И вдруг для Гогена забрезжила надежда. Через посредство его свояка Фрица Таулова его пригласили принять участие в выставке в Норвегии, в Кристиании. Гоген поспешил отправить устроителям несколько своих произведений и посоветовал Писсарро сделать то же. Норвегия, утверждал он, великолепная страна. Он убедился в этом, когда плавал на «Жероме-Наполеоне». Художнику имеет смысл там обосноваться – на пять тысяч франков в год там можно безбедно существовать с семьей.

Но у Метте не было ни малейшего желания ехать в Норвегию, и у Писсарро, который снова – в который раз! – пытался предостеречь своего друга, – тоже. «Передайте Гогену, – писал он Мюреру, – что после тридцати лет занятий живописью и имея кое-какие заслуги, я сижу без гроша. Пусть молодые не забывают об этом. Таков наш жребий – он не самый выигрышный!»

Когда 8 августа Писсарро отослал это письмо, Метте уже отбыла в Данию.

* * *

По мере того как недели шли и озлобление Метте усиливалось, она все чаще и все с большей нежностью вспоминала свою родину – Данию. Одиннадцать с половиной лет тому назад она с Марией Хеегорд приехала в этот самый Руан на корабле, который курсировал от порта Эсбьерг, на западном побережье Ютландии, до Нормандии. Так началось ее путешествие во Францию. Потом она встретила Гогена и прожила с ним несколько счастливых лет. Но теперь это была разочарованная в своих надеждах, оскорбленная женщина. И гудок парохода, который приходил из Эсбьерга и на борту которого служил один из ее родственников, звучал для нее как призыв. Пока Гоген предавался мечтам о Норвегии, она мечтала о стране, где прошла ее юность. На земле Франции она снова стала чувствовать себя чужестранкой.

Метте увезла с собой Алину и самого младшего сына, Поля, которого она уже стала звать на датский лад – Пола.

Было решено, что Метте проведет в Копенгагене семь-восемь недель, пока Гоген постарается упрочить свое положение. Оставшись один с детьми и няней, он старался экономить, как мог. Чтобы свести концы с концами, он за половинную цену продал свой страховой полис.

Пока Гоген писал портреты, пейзажи, виды руанского порта, Метте в Копенгагене радовалась встрече со знакомыми улицами, с домом на Фредериксберг-алле, где жила ее мать, Эмилия Гад. Мать и вся остальная родня приняли сторону Метте против Гогена. Ей советовали не возвращаться во Францию. Уговаривать ее не пришлось. Метте начала строить планы. Она будет преподавать соотечественникам французский, который она хорошо знает. Через полгода Поль приедет к ней. Быть может, за это время он поймет, в чем состоит его долг. Так или иначе, здесь ему это растолкуют. Такой умный и практичный человек, как он, всегда найдет в Копенгагене работу.

Метте поделилась своими планами с Гогеном. Но вдруг она передумала. Она решила не оставлять во Франции мебель, которой была обставлена их квартира. Она увезет ее в Копенгаген. В октябре она приехала в Руан. Теперь она уже не сомневалась, что навсегда уезжает в Данию.

Планы жены не слишком улыбались Гогену. Но видя ее решимость, он уступил. Она всегда поступала по-своему, он это знал. «Вспомни, как ты вела себя со мной, – я всегда был последним человеком в доме!» Гоген уступил – он поедет в Данию, и не через полгода, а сразу

же. Решиться на разлуку, остаться во Франции означало признать, что прошлое умерло. Гоген не хотел с этим смириться. Как ни огорчало его иногда поведение Метте, он не хотел лишаться того, что называл своей «любовью». Он всеми силами пытался убедить себя, что, несмотря на все передраги, прежняя жизнь продолжается. Он хотел видеть в Метте женщину, которую он любил и любит по-прежнему. «Что бы там ни изобретали, лучше семейного согласия ничего не выдумать».

В приливе оптимизма Гоген твердил себе, что родственники Метте помогут его семье. Кроме того, начинающий торговец картинами Берто обещал его поддержать. И еще Гоген завязал отношения с управляющим «фабрикой по производству непромокаемых и водостойчивых тканей» фирмы «Дилли и К», принадлежащей Рубе, которая только что запатентовала свой метод. Почему бы Гогену не стать представителем фирмы в Дании? С помощью жениной семьи, у которой, как он охотно объяснял служащим Рубе, большие связи в официальных кругах, он, несомненно, без труда – довольно похлопотать раз-другой – заключит множество выгодных сделок.

27 мая Метте в Париже простилась с Шуффенекером, у которого заняла четыреста двадцать франков, потому что не могла устоять перед искушением, и купила себе «роскошное» платье, «хотя оно было не по карману семье».

Меньше чем через неделю Метте с детьми и всей обстановкой погрузилась на пароход, который шел в Данию. А следом за ней, едва ему удалось заключить соглашение с фирмой по производству непромокаемых тканей, из Руана в Копенгаген направился Поль Гоген.

IV. Mette

То, что с такой силой притягивает меня к тебе и будит во мне негасимое желание, восходит к давним временам. Если бы ты могла понять, какой ты видишься мне, как прекрасен образ, который ты излучаешь, и как он освещает для меня мир!.. Твоя земная оболочка лишь бледная тень этого образа... Это вечный, изначальный образ, частица божественного, неведомого мира.

Новалис. Генрих Офтердинген

Декабрь. По заснеженным улицам Копенгагена, где температура показывала десять градусов ниже нуля, скользили сани. В парке Фредериксберг катались на коньках.



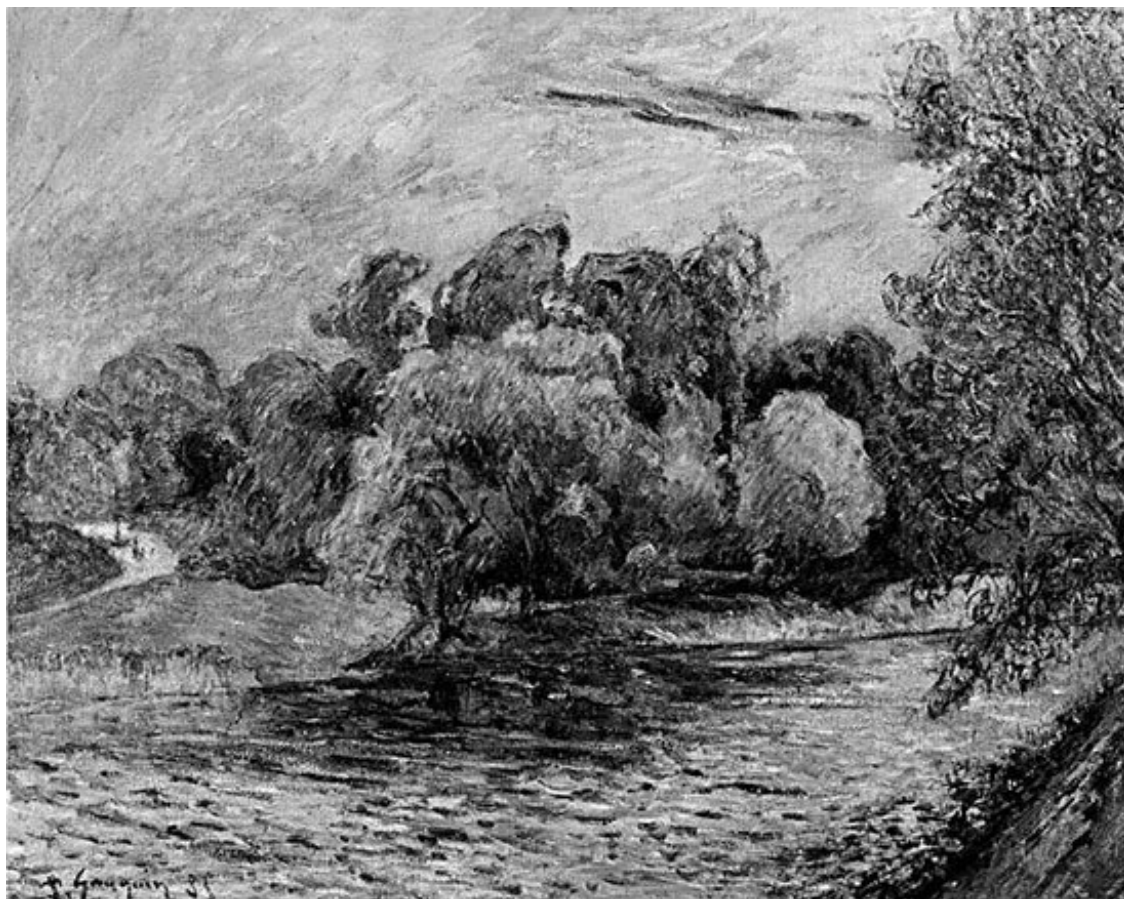
Парк Фредериксберг. Копенгаген.

Гогену в общем нравился этот город, он считал его «живописным», некоторые мотивы уже привлекли его внимание. Он был готов приспособиться к новым условиям существования, сделать над собой усилие, чтобы к ним привыкнуть. Но семья жены отнюдь не ценила его благих намерений.

Сплотившись вокруг Метте, члены семьи Гад и их друзья держались с Гогеном отчужденно, почти враждебно. Они смотрели на него с холодным и вежливым любопытством, к которому примешивались удивление и неприязнь. Для этих людей в жизни существовала только одна ценность – деньги и социальное положение. Поступок Гогена озадачил их, поставил в тупик. Не случайно этот человек, который ведет себя и рассуждает иначе, чем все они, не знает их языка. Они смотрели на Гогена с инстинктивным недоверием, какое люди испытывают к тому, что им чуждо.

Гоген надеялся, что найдет в Дании семью, опору, но обрел лишь свое прежнее одиночество. Он просил убежища, но его не приняли в клан. Его порыв угас, он снова оказался предоставлен самому себе.

«Нечего сказать, приятная страна эта Дания!»



Поль Гоген. Парк Остерволд. Копенгаген.

Окружавшая его среда коробила и раздражала Гогена своей посредственностью. Датчане – отвратительные буржуа, реакционеры и шовинисты, негодовал Гоген. Они отличаются рабской приверженностью к внешним формам и при этом показной добродетелью и ханжеством; у них принята система «пробного обручения», которое «покрывает все грехи», зато внебрачные связи караются тюремным заключением. Вдобавок они начисто лишены вкуса и способны, например, какую-нибудь мебель настоящей художественной работы накрыть «дешевой тряпкой за несколько франков». Картины Рембрандта плесневеют в музеях, куда никто никогда не заглядывает. Датчане предпочитают семейные посещения храмов, «где им читают Библию и где можно одеревенеть». Они создали музей своего соотечественника – скульптора Торвальдсена. Музей этот отвратителен. «Я посмотрел, что там выставлено, хорошенько посмотрел, и у меня голова пошла кругом. Греческая мифология, ставшая скандинавской, а потом, после еще одной стирки, – протестантской. Венеры опускают глазки и стыдливо кутаются во влажное белье. Нимфы танцуют джигу. Да-да, господа, они танцуют джигу – поглядите на их ноги». На взгляд самых смелых датских художников, великие живописцы современности – это де Ниттис и Бастьен Лепаж, которые якобы «завершили дело импрессионистов». Балаган!

И однако, Гоген мужественно принялся за дело. Он заказал себе почтовую бумагу на бланке с надписью:

«Специальная фабрика по производству непромокаемых и
водоустойчивых тканей Дилли и Компания Рубе
Представитель
Поль Гоген»

Прилежно изучая датский язык, Гоген одновременно начал вести переговоры с железнодорожными и судоходными компаниями, гражданскими больницами и военными госпиталями, пытаясь продать им брезент и вальтрап.

Когда речь заходила о коммерции и о деньгах, семейство Гад старалось помочь Гогену и поддержать его своими связями. Один из родственников, Херман Таулов, фармацевт из Кристиании, предложил даже войти с Гогеном в долю и выяснить, что можно продать в Норвегии. Гоген поспешил принять предложение Таулова. Он считал, что Херман человек «оборотистый», а с норвежцами, «совсем не похожими на датчан, дела вести легко. Этот народ внимательно следит за всеми новыми изобретениями и готов быть среди первых. А о народах-консерваторах я больше и слышать не хочу».

Норвегия в глазах Гогена обладала одним неоспоримым преимуществом – она находилась далеко от сферы его непосредственной деятельности. А близкая, реальная действительность, как всегда, приносила разочарования. Представитель «Дилли и К^о» на каждом шагу сталкивался с трудностями. Во-первых, датские власти потребовали, чтобы он заплатил за патент двести двадцать крон, а у него не было на это денег. У него не было денег даже на карету – концы приходилось делать большие, а зимние дни коротки. Он попросил аванс у «Дилли и К^о», но ему отказали. С другой стороны, Рубе не решался посылать ему много образцов. Таможня обложила товары фирмы самой высокой пошлиной, и они стали слишком дороги «для страны, где предпочитают всякую дешевую дрянь», как утверждал Гоген.

И все-таки Гоген пытался уверить служащих Рубе, а заодно и самого себя, что его старания вот-вот увенчаются успехом. Но пока что они ни к чему не приводили. Всюду, куда он приносил образцы, начиналось длительное обсуждение их преимуществ, потом давались уклончивые ответы, перечислялись всевозможные препятствия, а потом – «мы подумаем», и заказы откладывались на неопределенное время. В Норвегии дела обстояли не лучше. Херман Таулов – непонятно, почему он скрыл это от Гогена, – не мог «открыто заниматься другим ремеслом», кроме фармацевтического. Он договорился со своим приятелем, что тот возьмет на себя продажу непромокаемых тканей, но приятель потребовал большие проценты...

Устав от беготни, Гоген возвращался в квартиру на Гаммель Конгевей, 105 и уединялся в своем «художественном убежище», как он его прозвал.

«Больше, чем когда-либо, меня одолевает искусство, и одолевшие меня денежные заботы и деловые хлопоты не могут меня от него отвратить», – признавался он Шуффекенеру в письме от 14 января 1885 года. Краски, продававшиеся в Дании, были отвратительны, да и он редко мог позволить себе их купить. И все-таки он писал. Набросал конькобежцев во Фредериксбергском парке. Написал самого себя на чердаке, слабо освещенном маленьким оконцем, куда жена выдворила его вместе со всеми художественными принадлежностями. Гостиная нужна была ей самой, чтобы давать уроки французского. Время от времени из гостиной до Гогена доносился смех Метте, которая беседовала со своими учениками, элегантными молодыми людьми, будущими дипломатами, жестокий не без нарочитости смех, который оскорблял Гогена. О Метте, любимая женщина, защитница и покровительница мира его фантазии, к чему эти уловки? С болью в душе Гоген продолжал писать.

«Я без гроша, завяз по горло, потому-то я и утешаюсь мечтами». Вечерами, в постели, он размышлял, раздумывал. Позабыты брезенты «Дилли и К^о», позабыто семейство Гад и датчане, Гоген погружался в родные ему глубины. Под его тяжелыми полуопущенными веками мелькали линии, плясали краски. Многомесячные тяжелые испытания дали толчок его мысли. У этого человека, жившего мечтами, все сначала совершалось в уме. Он продолжал писать в импрессионистской манере, но в эти часы бессонных раздумий в тревожном озарении ему уже виделась форма грядущей живописи, его собственного будущего искусства.

«Для меня, – писал он Шуффу в том же самом (во многих отношениях пророческом) письме от января 1885 года, – великий художник обязательно являет собой великий ум. Ему свойственны самые тонкие, а следовательно, самые неуловимые чувства и толкования мысли». Искусство будущего должно не столько воплощать внешний образ вещей, сколько придавать форму – «самую простую» – чувству или мысли, которая владеет художником, находить пластический эквивалент его внутреннему миру.

«Взгляните на огромный мир творения природы, и вы увидите, что в нем существуют законы, следуя которым можно воссоздать, стремясь не к внешнему сходству, а к сходству впечатления, все человеческие чувства... Есть линии благородные, лживые и т. д. Прямая создает ощущение вечности, кривая ограничивает творимое... Цвет еще более выразителен, хотя и менее многообразен, чем линия, благодаря своему могучему воздействию на глаз. Есть тона благородные и пошлые, есть спокойные, утешительные гармонии, и такие, которые возбуждают вас своей смелостью...»

Эстетическая теория, начатки которой здесь набрасывал Гоген⁵⁹ и на которой взросло впоследствии несколько поколений художников, была отрицанием импрессионизма, продолжавшего реализм. Поразительное открытие! Почти совсем оторванный от парижской художественной среды, развивая свои мысли в полном одиночестве, в гнетущей атмосфере всеобщего презрения, Гоген порой спрашивал себя, уже не сходит ли он с ума. «И все же, чем больше я размышляю, тем больше верю, что я прав».

А в гостиной раздавался смех Метте... Гоген делал все новые попытки продать непроданные ткани «Дилли и К^о». Но он не получил ни одного заказа, кроме как от господина Хеегорда, который в середине февраля купил пять рулонов брезента. Эти постоянные неудачи, конечно, не улучшали отношений с семейством Гад.

В особенности женская часть семьи с мстительным наслаждением унижала Гогена. Его теща, упрямая, сухая и властная женщина, непрерывно отпускавшая колкости, и свояченицы, в особенности «гордость семьи» Ингеборг, пользовались любым случаем, чтобы досадить Гогену. Самый глупый из датчан был в их глазах чудом ума по сравнению с этим бездарным французом, который сел на шею семейству Гад. Ингеборг вновь обрела былое влияние на свою старшую сестру Метте. С торжествующим злорадством она упорно раздувала обиду своей сестры, стараясь восстановить ее против этого маклера-неудачника, недостойного супруга, который не способен заработать ни гроша, хотя ему надо кормить жену и пятерых детей.

Гоген отмалчивался. Он ходил с образцами товаров из больницы в лавку шорника, из конторы управления Зеландских железных дорог в контору Арсенала. «Даже детей подучивают говорить: «Папа, давай денежки, а не то, папочка, пеняй на себя!» Наконец в последних числах марта Гоген получил в Арсенале заказ на сто двадцать пять метров брезента. Воспользовавшись этим, он попросил «Дилли и К^о», чтобы ему разрешили взять вырученную сумму в счет аванса. Но это не могло спасти положения. За семикомнатную квартиру, в которой поселилась Метте, приходилось платить слишком дорого – четыреста крон за полгода. В апреле Гогены перебрались в более скромную квартиру, на Норрегаде, 51. Метте это дало новый повод злиться на мужа. Муки тщеславия, пережитые ею в Париже и в Руане, не шли ни в какое сравнение с теми, что ей приходилось переживать здесь, где все ее знали, где каждый ее шаг был на

⁵⁹ Рене Юиг справедливо отмечал, что Делакруа в этом смысле можно считать предтечей Гогена. Он высказывал сходные мысли, некоторые из них были повторены Бодлером. «Человеческой душе, – писал Делакруа, – присущи врожденные чувства, которые никогда не удовлетворяются предметами реального мира, и вот этим-то чувствам воображение художника и поэта и придает форму и жизнь... Определенное впечатление рождается от того или иного сочетания красок, света и тени... Это то, что можно назвать музыкой картины. Такого рода ощущение обращено к самой интимной стороне души...» Гоген, который позднее переписал некоторые из этих фраз Делакруа, заметил: «Я люблю мечтать о том, что было бы, явись Делакруа на свет на тридцать лет позже и предпринимай он, с его состоянием и в особенности с его талантом, борьбу, на которую решился я. Какое возрождение искусства было бы у нас сегодня!»

виду и люди злословили о ней и о торговце брезентом. Она шпыняла мужа, осыпала упреками, обвиняла в эгоизме и в бесчувственности! О, если бы не дети! Они ее настоящее утешение, подлинная цель жизни. Она больше мать, чем жена, твердила Метте. И, однако, озлобленность против мужа внушала этой матери неприязнь к некоторым из детей – эти чувства в ней поддерживала ее семья. Кловис и Алина – мальчику шесть, а девочке семь с половиной лет – особенно любимы отцом, на которого они похожи, и этого довольно, чтобы семейный клан в отместку охладил к ни в чем не повинным детям. Жестокая, но правдивая деталь. Впоследствии Гогену пришлось даже просить Метте преодолеть себя и поласковой обходиться с Кловисом. «Этот ребенок не должен чувствовать, что ты и твои родные не расположены к нему. У него чуткое сердце – он ничего не скажет, но будет страдать». В другой раз – уже много лет спустя (потому что этот бессердечный отец не переставал тревожиться о детях) – он с горечью напишет об Алине: «Я знаю, что она немного похожа на меня, и по этой причине ты относишься к ней в какой-то мере как к чужой. Она понимает, что ты ее не слишком любишь, и она несчастлива».

17 апреля Гоген отправил письмо управляющим фирмой «Дилли и К^о»:

«Вы пишете мне, что создается впечатление, будто я отчаялся. Это не совсем так, но признаюсь, я устал от беготни и встреч, которые много обещают, но сулят заработки только в далеком будущем... Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно, а сегодня из-за таможи, чтобы доставить товар в Арсенал, мне пришлось хлопотать и бегать с половины одиннадцатого до трех часов по конторам и в порту. Надо признать, что если я и заработаю у вас деньги, то не даром».



Поль Гоген с сыном Кловисом и дочерью Алиной.

Молчальник начал терять терпение. Его принимали, выслушивали, разглядывали его товар, а потом откладывали заказы на неопределенный срок: «Приходите недель через шесть или месяца через три, может, мы что-нибудь и решим». И Гоген забирал свои образцы и отправлялся обивать другие пороги. Трудности, отказы, отсрочки, ожидание – в итоге он раздражался. «Эти господа отнюдь не всегда держатся любезно». Но и Гоген тоже. Однажды он схватил со стола стакан с водой и швырнул его в лицо клиенту.

И вдруг в эти мрачные копенгагенские дни на горизонте забрезжил просвет. Гоген изредка встречался с датскими художниками. Показывал им свои картины. Один из них, Филипсен, даже попросил на время одну из картин, чтобы изучить ее на досуге. В апреле бла-

годаря этим знакомствам Общество друзей искусства предложило Гогену устроить небольшую выставку его произведений.

Гоген безусловно надеялся, что после стольких огорчений и разочарований выставка его поддержит. Теперь, больше чем когда бы то ни было, только мысли о живописи («Убежден, – писал он в мае Писсарро, – что преувеличения в искусстве не существует. Я даже полагаю, что все спасение в крайности») и редкие минуты, когда он мог писать у себя на чердаке или в городских парках, приносили ему видимость успокоения. Увы, он не подозревал, что его выставка (она открылась в пятницу 1 мая) нанесет ему жестокий удар. И в самом деле, полотна Гогена показались настолько дерзкими, что критика встретила их единодушным молчанием. Общество друзей искусства приняло решение выставку закрыть.

Гоген тяжело пережил это публичное унижение, в котором винил Датскую академию. «Я ведь ни о чем не просил!» Доведенный до отчаяния, он повсюду видел «низкие интриги». И так ли уж он был неправ? В том смятении чувств, в каком он жил, у него не раз, наверное, вырывались не слишком лестные слова по адресу Дании и датчан, которых его родственники вечно ставили ему в пример. «Ненавижу Данию!» Оскорбляемый семьей жены, он задыхался в этом прозаическом мире мещан, довольных собой, убежденных в своих добродетелях и обвинявших его в том, что они считали самым страшным преступлением – на социальной лестнице он оказался среди побежденных. В глазах этого сына солнца, которому климат северной страны был так же противен и как, ее жители (он страдал от ревматических болей в плече), Дания воплощала все то, что он безотчетно ненавидел.

Но конечно, дело было не только в язвительных выпадах человека, которого непрерывно унижали и третировали. Гоген не умел притворяться. Он никогда не делал попыток приспособиться к этой среде с ее жестокой моралью, где все были озабочены соблюдением внешних приличий. Ему даже не приходило в голову приспособиться. Да и захоти он – он бы не мог.

Мало того что его выставка вызвала скандал, люди замечали, что он не ходит в церковь. Оказывается, этот мазила еще и безбожник. Вчера Гогена считали подозрительным, сегодня он стал нежелательным. И это ему откровенно давали понять. Мастера-окантовщики отказывались делать для него рамы. Иначе, мол, «они потеряют клиентов». Графиня Мольтке, оплачивавшая пансион старшего сына Гогена, Эмиля, отныне перестала за него платить «по религиозным соображениям». По этим же причинам некоторые ученики, собиравшиеся брать уроки у Метте, так больше и не появились в квартире представителя фирмы, не имеющего клиентов.

«У меня терпение лопается!» – восклицал Гоген. Бессмысленно было продолжать жить в Дании, в этой враждебной стране, где он не мог ждать ничего кроме постоянных унижений. «Долг! Посмотрел бы я, как другие повели бы себя на моем месте. Я исполнял свой долг до конца и отступил только тогда, когда это стало физически невозможно». В мае он написал Писсарро: «Самое позднее месяца через два, если только я не повешусь, я вернусь в Париж и как-нибудь проживу – стану рабочим или бродягой»⁶⁰. Рабочим – хотя бы, например, у скульптора Буйо. Главное, он будет «свободным» и ему не придется терпеть нападки семейки, которая самого кроткого человека способна превратить в «кровожадного зверя».

Но в общем, хотел того Гоген или нет, семейство Гад решило вынудить его уехать. После того как у Эмиля отняли плату за пансион, а Метте лишилась уроков, ее родные окончательно ополчились против бывшего маклера. Ему напрямик объявили, что он «лишний». К тому же он непрерывно совершал бестактности. В начале лета, прогуливаясь по пляжу, где женщины и мужчины купались голые, но каждые в своей стороне и в определенные часы, – «причем полагалось, чтобы путники, идущие по дороге, ничего не видели», – он опять вызвал скандал, заглядевшись на жену пастора с маленькой дочкой. Нет, пора этому ничтожеству убираться восвояси.

⁶⁰ Приводится Ховардом Рострупом.

Метте сама хотела «разъехаться». Когда Гоген упрочит свое положение, можно будет пересмотреть этот вопрос. «Оглядываясь назад и видя злобные страсти, которые нас разъединили, я должен был бы тебя ненавидеть». Но Гоген не питал к Метте ненависти. Несмотря на все зло, какое она ему причинила, на старые обиды, которые он теперь припоминал, он не хотел ее лишиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.